

Речь не идет больше об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального знаками реального, то есть об операции устранения всего реального пропроса его операционным дубликатом, метастабильной знаковой машиной, программатичной, безупречной, которая дарует все знаки реального и минует при этом все перипетии. Больше никогда реальному не представится случая для самовоспроизводства – такова витальная функция модели в системе смерти, или скорее, предвосхищенного воскресения, которое не оставит никакого шанса самому событию смерти.

Отныне гиперреальное находится в укорытом воображаемого и всякого различия реального и воображаемого, оставляя место лишь орбитальному повторению моделей и самодублированию порождения отличий.

Jean Baudrillard
Жан Бодрийяр

Simulacres et simulation

СИМУЛЯКРЫ
И СИМУЛЯЦИЯ

Jean Baudrillard

Жан Бодрийяр

Simulacres et simulation

Симулякры и симуляция

87

Б75

Б75 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция [Текст] / – Перевод О. А. Печенкина. – Тула, 2013. – 204 с.

Перевод с французского и вступительная статья О.А. Печенкиной

Несомненно, симулякр является одной из основных категорий постмодернистской философии. Концепция симулякра связана, прежде всего, с именем виднейшего французского философа Жана Бодрийяра (1929-2007), по мнению которого, эпоха постмодернизма есть не что иное, как эра тотальной симуляции.

Все процессы симуляции происходят в так называемом пространстве симуляции, образное описание которого философ дает в книге «Соблазн» (1979г.), написанной несколько лет спустя после произведения «Символический обмен и смерть» (1976г.). В симулятивном пространстве гиперреальности эффект реальности имитируется и утрируется, создавая впечатление, что все предметы, воздух, освещение существуют в действительности. «У этого таинственного света нет источника, в косом падении его лучей нет уже ничего реального, он как водная гладь без глубины...Вещи тут давно утратили свою тень (свою вещественность)» /Соблазн/. Наиболее полно характеристики пространства гиперреальности, а также самой эры симуляции, раскрываются философом в книге «Симулякры и симуляция», вышедшей в 1981 году.

Эра тотальной симуляции, или искусственное воскрешение реальности

Постсовременная эпоха, как и всякий новый виток в развитии культуры и философской мысли, ознаменовал себя разного рода изменениями. Сам термин постмодернизм¹, дословно постсовременность, до настоящего момента так и не получил четкой и окончательной дефиниции. Выделяемые философами многочисленные черты обозначенной эпохи могли бы быть объединены некоей общей тенденцией формулировать свойства, исходя из отрицания и отсутствия по отношению к модернизму. Подобную особенность в интерпретациях постмодернизма, в общем, можно назвать «апофатическим» дискурсом о постмодерне.

Эпоха «после-долга»², эпоха минималистской морали, свободной от каких-либо предписаний, «морали без этики»³, период постмодернистской неопределенности, множественности истины, алеаторного распространения ценностей, как его часто характеризуют, включил в себя те произошедшие модификации, которые не могли не сказаться отрицательно на привычном мировосприятии человека, на системе моральных установок общества. Возникла потребность в переоценке традиционных ценностей, вызванная исчерпанностью предшествующей парадигмы представлений. Мутации, коснувшиеся различных сфер человеческого бытия, связаны, прежде всего, с наступлением эры новейших технических средств массовых коммуникаций – телевидения, видеотехники, компьютерной техники. Немаловажную роль в системе человеческих взаимоотношений сыграло развитие глобальной сети Интернет. Экспериментирование с искусственной реальностью, различные способы производства *реальности* повлекли за собой изменения в характере

¹ Зачастую в обыденном языке понятия постмодерн и постмодернизм не разграничиваются, хотя термин постмодернизм подразумевает, прежде всего, комплекс философских, научно-теоретических представлений, особый способ восприятия действительности, теорию, описывающую пост-современность, а постмодерн – ту ситуацию, в которой мы пребываем. По выражению одного из сторонников постмодернизма Вольфганга Вельша «постмодерн здесь понимается как состояние радикальной плюральности, а постмодернизм – как его концепция». / См.: Welsch W. Unsere Postmoderne Modeme. Weinheim, 1987. S. 4/.

² Lipovetsky J. Le crépuscule du devoir. P.: Gallimard, 1992.

³ Bauman Z. Life in Fragments: Essays on Postmodern Morality. London: Blackwell, 1995. P. 5.

не только восприятия самой действительности, но и повлияли на способ общения людей. Характеризуя специфику взаимоотношений в «пространстве симуляции», философ говорит о самом акте как об игре, симуляции разговора, потому что ни собеседников, ни смысла сообщений в сетевом пространстве уже не существует. «Здесь играют в то, будто говорят друг с другом, слушают друг друга, общаются, здесь разыгрываются самые тонкие механизмы постановки коммуникации. Контакт ради контакта становится родом пустого самособлазна языка, когда ему уже просто нечего сказать».⁴

Современность для Жана Бодрийяра, которого можно отнести скорее к критикам ситуации постмодерна, чем к ее апологетам, – это эра тотальной симуляции, и он всюду обнаруживает симуляционный характер всех современных социальных и культурных феноменов. В результате, по мнению Жана Бодрийяра, люди имеют дело не с реальностью, а с гиперреальностью, воспринимаемой гораздо реальнее, чем сама реальность.

Современное положение вещей названо Бодрийяром «состоянием после оргии» /Прозрачность зла, 1990/. Каждый взрывной момент в мире – это оргия. «Это момент освобождения в какой бы то ни было сфере. Освобождения политического и сексуального, освобождения сил производительных и разрушительных, освобождения женщины и ребенка, освобождения бессознательных импульсов, освобождения искусства».⁵ Каждому периоду оргии, таким образом, сопутствует революционное состояние опровержения предшествующих ценностей и идеалов, завоевания нового пространства свобод и прав. Однако, «после оргии», по мнению Ж. Бодрийяра, человечеству не остается ничего другого, кроме как симулировать освобождение, «изображать оргию». «Все что нам остается – тщетные притворные попытки породить какую-то жизнь помимо той, которая уже существует. Мы живем в постоянном воспроизведении идеалов, фантазмов, образов, мечтаний, которые уже присутствуют рядом с нами и

⁴ Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: Ad Marginem, 2000, с. 282

⁵ Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М.: Добросвет, 2000, с. 2

которые нам, в нашей роковой безучастности, необходимо возродить снова и снова». ⁶ Именно на данном этапе эволюции симулякров и наступает время господства чистых бессубъектных симулякров.

По мнению многих исследователей постсовременности, симулякр является одним из наиболее популярных в последнее время терминов постмодернистски ориентированной философской и просто теоретической мысли. Становление концепции симулякра, связанной, прежде всего, с именем Жана Бодрийера, проходило параллельно развитию теории деконструкции Жака Деррида. Однако язык и стиль первого нельзя назвать таким же «серьезным», изобилующим постструктуралистскими семиологическими категориями и терминами, как стиль школы деконструктивистов. Бодрийер снискал себе «несколько двусмысленные титулы мага постмодернистской сцены, гуру постмодерна, Уолота Диснея современной метафизики, «меланхолического Ницше», подменившего сверхчеловека «смертью субъекта». [...] Идеи Деррида и взгляды Бодрийера – теории разных уровней». ⁷ Тем не менее, именно этот «поп-философский» язык, воспринимается как более характерный для постмодернистского литературного стиля, насыщенного сложной научной терминологией из различных областей знания.

Термином «симулякр» Жан Бодрийер начинает оперировать в конце 70-х годов. Именно в этот период открывается постмодернистский этап его творчества. Однако ранние труды во многом подготовили переход на постмодернистские позиции. Они были посвящены «своего рода социологическому психоанализу мира вещей и общества потребления, не чуждому семиологии, структурализму и неомарксизму (большое влияние на Бодрийера оказали взгляды Ф. де Соссюра, Р. Барта, Г. Лукача, Г. Маркузе, А. Лефевра)». ⁸

⁶ Бодрийер Ж. Прозрачность зла. – М.: Добросвет, 2000, с. 8.

⁷ Маньковская Н.Б. Эстетика постмодерна. СПб.: Алетейя, 2000, с. 57.

⁸ Маньковская Н.Б. Эстетика постмодерна. СПб.: Алетейя, 2000. С. 58.

Симулякр – это имитация несуществующего. «Симулировать значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле». В постмодернистской ситуации, где реальность превращается в модель, оппозиция между действительностью и знаками стирается и все превращается в симулякр. В пространстве тотальной симуляции не существует больше границ между реальным и воображаемым, реальность отныне переходит в ранг гиперреальности, характеризующейся господством чистых ирреферентных симулякров, прецессией моделей и заменой реальными знаками реального. Характеризуя объекты, размещенные в пространстве симуляции как изолированные случайные знаки, философ отмечает, что отныне, с наступлением эры симуляции, эти знаки лишаются референтов. «В этом переходе в пространство, чье искривление не относится больше ни к реальному, ни к истине, эра симуляции открывается уничтожением всех референтов – хуже: их искусственным воскрешением в системах знаков... [...] Речь не идет больше об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального знаками реального, то есть об операции утращения всего реального процесса его операционным дубликатом, метастабильной знаковой машиной, программатичной, безупречной, которая дарует все знаки реального и минует при этом все перипетии»⁹. Отныне все, с чем мы сталкиваемся, подвергается бесконечным замещениям, ничто в этом гиперреальном универсуме больше не реально и является результатом предшествования модели, чистым знаком реального, лишенным собственного референта, все становится своим собственным чистым симулякром. В результате симулякр оказывается принципиально несоотносимым с реальностью напрямую, если вообще соотносимым с чем-либо, кроме других симулякров. Именно этот мир, мир моделей и симулякров, пространство ирреферентных образов, называемое

⁹ Baudrillard J. Simulacres et simulation. P.: Galilée, 1981. P. 11.

гиперреальностью, Жан Бодрийяр и описывает в книге «Симулякры и симуляция», вышедшей в 1981 году.

Наметив несколькими годами ранее стадиальную схему эволюции симулякров, Жан Бодрийяр предлагает лишь три ступени подобного развития: симулякры первого порядка, действующие на основе естественного закона ценности, симулякры второго порядка – на основе рыночного закона стоимости, и симулякры третьего порядка – на основе структурного закона ценности. И только позже, в работе «Прозрачность зла» автор концепции развивает схему и добавляет четвертую стадию эволюции симулякров – фрактальную, которая и соответствует «нынешнему» положению вещей и является «самой современной». Именно третья и четвертая стадии эволюции симулякров представляют наибольший интерес, поскольку являются теми ступенями, на которых начинается производство невещественных процессуальных симулякров, моральных симулякров. В книге «Симулякры и симуляция» описывается третья стадия развития симулякров, а также существенные отличия симулякров третьего порядка от симулякров предыдущей фазы. По словам философа, структурная стадия характеризуется, прежде всего, сменой реального на *гиперреальное*, основой логики которого является так называемая *прецессия* симулякров – предшествование симулякров или моделей реальным событиям. Согласно логике гиперреального, симулякры больше не являются отображением реально существующих объектов, отныне само реальное является вторичным по отношению к симулякрам, которые, в свою очередь, приобрели характеристику ирреферентности. «Именно следы реальности, а не карты продолжают существовать то здесь, то там, и не в пустыне Империи, а в нашей [пустыне]. Пустыне самого реального».¹⁰ Симуляция это уже не подделка оригинала, но и не чистая серийность, которой правит закон эквивалентностей, теперь все формы выводятся путем модулирования

¹⁰ Baudrillard J. Simulacres et simulation. P.: Galilée, 1981. P. 10.

отличий. Модуляция составляет основу всего – смысл имеет только соотнесенность с моделью, и все теперь выводится из модели, из «референтного означающего». На смену рыночного закона ценности приходит структурный, так как основу симуляции составляет подстановка элементов, управляемая секретами кода.

Гиперпространство симуляции характеризуется циклическим повторением событий, которые, в свою очередь, образуются из орбитальной циркуляции моделей. В подобном цикле, по мнению Жана Бодрийяра, невозможна детерминированность или определение, которое, в силу своего распространения по всем направлениям, рождает почву для плюрализма и многочисленных, даже противоречивых интерпретаций.

Однако наиболее значимой характеристикой гиперреального пространства представляется его регулируемость генетическим или бинарным кодом. Причем для третьей стадии характерно повсеместное проникновение генетического кода, который присутствует в дискурсе, медиуме, но также и в каждом из нас. «В делах, аффектах, замыслах или удовольствиях каждый пытается реализовать свою собственную оптимальную программу. У каждого есть свой код, у каждого – своя формула. Но также и свой облик, свой образ. Может ли быть в таком случае что-то вроде генетической внешности?»¹¹

Таково новое положение вещей, которое Жан Бодрийяр называет новейшей операциональной конфигурацией, чьим метафизическим принципом и является бинарность или бинарный код. Таковым является генетический код, управляющий симулякрами третьего порядка; его особенность состоит в том, что он содержит всю информацию изначально; это элементарная генетическая матрица, в которой цель полагается в самом начале, она зафиксирована в коде, но не наличествует в итоге, потому что итога вообще нет. «...просто порядок целей уступает место игре молекул, а

¹¹ Бодрийяр Ж. Америка. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 119.

порядок означаемых — игре бесконечно малых означающих, вступающих только в случайные взаимоподстановки».

Поэтому симуляция, действующая на основе структурного закона ценности, и операциональна, что она оперирует уже зафиксированными в коде знаками. Отныне все, включая социальные отношения, (а, стало быть, и этико-онтологическая реальность) регулируется кодом. По словам Жана Бодрийяра, на стадии симуляции находит свое завершение длительный процесс, «когда один за другим умерли Бог, Человек, Прогресс, сама История, уступив место коду, когда умерла трансцендентность, уступив место имманентности, соответствующей значительно более высокой стадии ошеломляющего манипулирования общественными отношениями».¹² Можно сказать, что и моральные ценности, начиная с этого периода, не только регулируются кодом, но и порождаются им, отныне это даже уже и не моральные ценности, а моральные симулякры¹³. «В ходе бесконечного самовоспроизводства система ликвидирует свой миф о первоначале и все те референциальные ценности, которые она сама же выработала по мере своего развития».¹⁴

Однако, по утверждению Жана Бодрийяра, с наступлением третьей фазы симуляции воспроизводиться может и само реальное, которое становится неотличимым от симулякров (вторичным по отношению к симулякрам). Исчезает различие между реальным и воображаемым, которое когда-то составляло «очарование» абстракции. Идеальное совпадение оригинала с его симулякром приводит к постепенному уничтожению всех референтов.

¹² Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 130.

¹³ В исследовании, посвященном этике симулякров Ж. Бодрийяра, моральный симулякр на структурной стадии ценностей определяется как генерированный ирреферентный знак этической реальности, нетранзитивное производство которого регулируется этическим кодом, а на фрактальной стадии ценностей - как генерированный ирреферентный знак этической реальности, вышедший из цепи этического кода, и «регулируемый» вирулентным метастатическим беспорядком. На данной стадии моральный симулякр переходит в разряд трансморального, являющегося результатом производства знаков трансэтической реальности./См.: Дисс. иссл. Печенкина О.А. Этика симулякров Жана Бодрийяра (анализ постмодернистской рецепции этического), 2006//Печенкина О.А. Этика симулякров Жана Бодрийяра (анализ постмодернистской рецепции этического) – Тула: Тульский полиграфист, 2011).

¹⁴ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 130.

Божественные образы, иконы, возможно, есть не что иное, как ирреферентные божественные симулякры, или симулякры божества. «Но чем оно становится [божество], когда обнаруживается в иконах, когда множится в симулякрах? Остается ли оно высшей инстанцией, которая просто воплощается в образах видимой теологии? Или же оно исчезает в симулякрах, которые, единственные, раскрывают свою роскошь и мощь ослепления – видимый механизм икон, заменяющий чистую и сверхчувственную Идею Бога?».¹⁵ Главным свойством симуляции, по утверждению философа, является имитация несуществующего, в отличие от сокрытия чего-либо. «Скрывать [dissimuler] значит делать вид, что не имеешь того, что есть на самом деле. Симулировать [simuler] значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле. Одно отправляет к присутствию, другое – к отсутствию».¹⁶ Однако, по уточнению Бодрийяра, очень важно различать такие понятия, как, например, изображать болезнь и симулировать болезнь. «Тот, кто изображает болезнь, может просто лечь в постель и заставить поверить в то, что болен. Тот, кто симулирует болезнь, определяет в себе ее симптомы».¹⁷ Сущность симуляции заключается в том, что она, по выражению автора, ставит под сомнение отличие «настоящего» от «ложного», «реального» от «воображаемого». В то время как делать вид, изображать или скрывать не затрагивает сам принцип реальности: «различие всегда ясно, оно только замаскировано».¹⁸ Не имеет уже значения, болен на самом деле симулятор или нет, важно, что он производит «настоящие» симптомы. Объективно его нельзя посчитать ни больным, ни не-больным. Речь идет о «потерянном» принципе реальности, перед чем, по мысли самого философа, бессильны и медицина, и психология, и психоанализ. «Разумеется, врач-психиатр уверяет в том, что «для каждой формы умопомешательства есть особое место в последовательности симптомов, о которых симулятор не

¹⁵ Baudrillard J. Simulacres et simulation. P.: Galilée, 1981. P. 14.

¹⁶ Там же. С. 12.

¹⁷ Там же. С. 12.

¹⁸ Там же. С. 12.

знает, и чье отсутствие не ввело бы в заблуждение психиатра». «Все это для того, чтобы, во что бы то ни стало, спасти принцип истинности и избежать вопроса, который задает симуляция – понять, что правда, референция, объективная причина перестали существовать».¹⁹ Сам дискурс отныне не может быть определен ни как ложный, ни как истинный. «Что может поделаться психоанализ с раздвоением дискурса бессознательного в дискурсе симуляции?». Невозможным также становится различие между симптомами произведенными и аутентичными. «Если он так хорошо изображает сумасшедшего, значит, он таким и является».²⁰

Таким образом, проявления симуляции повсеместно затронули различные области человеческого существования, медицины, психоанализа, религии и другие.

Говоря о различии между симуляцией и репрезентацией, Жан Бодрийяр выводит, что последняя исходит, прежде всего, из принципа эквивалентности знака и реальности («даже если этот эквивалент утопичен, это фундаментальная аксиома»). Симуляция исходит, наоборот, из «утопии принципа равенства, она исходит из радикального отрицания знака как ценности, исходит из знака как возвращения к прежнему состоянию и уничтожения всякой референции».²¹ При этом происходит переход от «знаков, которые что-то скрывают, к знакам, которые скрывают, что нет ничего». Последние образуют эру симулякров и симуляции, где «нет больше Бога [...], нет больше последнего Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от искусственного воскрешения, так как все уже мертво и заранее воскрешено».²²

С наступлением эры симуляции, преобразованием реальности в гиперреальность, появляется феномен так называемой ностальгии, «повышается» ценность изначальных мифов и знаков реальности, а также

¹⁹ Baudrillard J. Simulacres et simulation. P.: Galilée, 1981. P. 13.

²⁰ Там же. С. 13

²¹ Там же. С. 16.

²² Там же. С. 17.

истины, объективности и аутентичности. Воскрешение фигуративного происходит там, где объект и субстанция подверглись ранее исчезновению. По выражению философа, начинается безудержное и безумное производство реального и референциального, которое по своим масштабам превосходит даже материальное производство. Определяя логику симулякров как не имеющую ничего общего с логикой фактов и разумным порядком, Бодрийяр утверждает, что один и тот же факт может быть образован случайным предшествованием ему нескольких моделей, так как сама симуляция характеризуется, прежде всего, и прецессией симулякров реальному, и прецессией моделей, предопределяющих реальный факт.

Последний в этом случае относится уже к событиям гиперреальным, которые, как говорит Жан Бодрийяр, больше не имеют ни содержания, ни собственных целей и бесконечно «преломляются одни другими (так же как исторические события: восстания, демонстрации, кризисы и т.д.)».²³ Из чего следует, что подобные события лишаются действительной этической значимости, являясь симулякрами события.

Важную роль в формировании симулякров событий, оценочных реакций, этических ценностей, поведенческих актов с позиций морали играет медиум²⁴, в понятие которого философ вкладывает все разнообразие средств массовой информации. Этика неизбежно оказывается вовлечена в информационный процесс и связана с источниками и средствами информации, что является одним из условий ее социокультурного функционирования. «Особенно большое значение имеют средства информации, ибо они самым существенным образом влияют на структуру морального сознания и характер применения моральных норм и принципов».²⁵ Базируясь на принципиально ином, по отношению к традиционной этике, типе информации, постмодернистская мораль

²³ Baudrillard J. Simulacres et simulation. P.: Galilée, 1981. P.38.

²⁴ В этике симулякров Жана Бодрийяра категория медиума, в которую вкладывается значение пространства производства знаков и циркуляции моральных симулякров, является одной из основополагающих.

²⁵ Назаров В.Н. Прикладная этика. М.: Гардарики, 2005. С. 213.

основывается на информации, связанной, прежде всего, с медийными носителями. В свою очередь, подобная взаимосвязанность влияет на восприятие субъектом потока моральной информации.

Пользуясь латинским словом «медиум» (лат. *medium* – «по середине», «средний»), к которому восходит термин мессмедиа и само понятие СМИ, Жан Бодрийяр делает акцент таким образом на масштабности и характере функции всех типов средств массовой информации, а именно на функции посредничества и носителя информации, понимаемого как техническая производительная сила, порождающая симулякры. Сам язык, символическая система, превращается в медиум на уровне знака и рекламного дискурса. Повсюду массовая коммуникация определяется этой систематизацией на уровне технического медиума и кода, систематическим производством сообщений, истоком которых является не реальный мир, а сам медиум. В подобном контексте медиум выступает как транслятор нравственных ценностей, носитель моральной информации и средство формирования симулякров, моделью для которых выступают разнообразные феномены морали. С точки зрения производства симулякров наиболее грандиозной и масштабной предстает как раз медиатическая сфера, способная затронуть любые другие области, политическую, биологическую, медицинскую, психологическую и другие, и именно медиуму Бодрийяр уделяет значительное внимание в своей концепции симулякров. Важно еще и то, что информация масс-медиа больше не имеет ничего общего с «реальностью» фактов; «реальность» также уже протестирована. «Мы входим здесь в мир псевдо-события, псевдо-истории, псевдо-культуры [...] Т.е. события, истории, культуры, идей, произведенных не живым опытом, противоречивым, реальным, а произведенных наподобие артефактов посредством элементов кода и технической манипуляции медиума.

Предстоящее потреблению событие отфильтровывается, дробится, перерабатывается целым индустриальным конвейером производства».²⁶

«Повсюду можно наблюдать прецессию средств массовой информации в отношении террористического насилия. Именно это придает насилию специфически современную форму, гораздо более современную, нежели так называемые «объективные причины», которые мы стараемся ему приписать: ни политические, ни социальные, ни психологические причины несоизмеримы с этим событием».²⁷ По мнению философа, такое событие как террористический акт представляет собой воспроизведенный медиумом знак, смысл которому придают сами СМИ, а также реципиент информации, моральная оценка которого является «следствием прецессии симулякров» или моральным симулякром. «Насилие потенциально существует в пустоте экрана благодаря дыре, которую он открывает в ментальное пространство».²⁸ Что стало бы с событием террористического акта, если бы о нем никто ничего не узнал? Таким образом, можно сказать, что само реальное событие, реальный террористический акт не происходит, имеет место лишь симулякр события, являющийся следствием преднамеренного производства со стороны медиума. Речь идет об антиципации события, или о прецессии симулякров. «В своей основе насилие, как и терроризм, не событие, а скорее отсутствие события, принимающее форму *взрыва, направленного внутрь*: взрывается политическая пустота (а не злоба той или иной группы людей), молчание истории (а не психологическое подавление индивидуумов), безразличие, безмолвие».²⁹

Однако постмодернистская ситуация далеко не исчерпывается условиями тотальной симуляции, к которой прибавляются замещение субъекта разнообразными безличными структурами, производство знаковых,

²⁶ Baudrillard J. La société de consommation. P.: Éditions Denoël, 1970. P. 194.

²⁷ Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 112.

²⁸ Там же. С. 111.

²⁹ Там же. С. 113.

а не материальных ценностей, смена познавательной парадигмы. В результате всего этого сама система ценностей неизбежно оказалась исчерпавшей себя, что обусловило потребность в новых этических основаниях и возрождении ценностных ориентиров. Подобная необходимость кроется в самой постмодернистской ситуации, вобравшей в себя изменившееся сознание, отношение к действительности, условия тотальной симуляции, и те технические причины, которые повлекли за собой такие масштабные модификации. Несомненно, что проект тотальной симуляции, помещающий человека в пространство виртуальных отношений, является тем переживаемым опытом, который разрушает традиционные нравственные категории. Поэтому большинство критиков постмодернистской ситуации уже говорят о необходимости возврата к истокам собственной ответственности. И если «после смерти Бога возвещается смерть человека», то человечеству необходимо искать этические основания в самом себе.

Печенкина О.А.

Прецессия симулякров

Симулякр никогда не является тем, что скрывает истину – это истина, которая скрывает, что ее не существует.

Симулякр – это истина.

Экклезиаст³⁰

Если бы мы могли в качестве примера самой красивой аллегории симуляции привести басню Борхеса, в которой картографы Империи составляют настолько подробную карту, что она, в конце концов, очень точно покрывает саму территорию (но закат Империи становится свидетелем того, как карта постепенно истрепывается и разрушается, какие-то лохмотья еще едва уловимы в пустынях – метафизическая красота этой разрушенной абстракции, свидетельствующей о великой славе Империи и гниющей словно падаль, возвращает к субстанции земли, и похожа на то, как дубликат, старея, постепенно смешивается с реальностью), эта басня больше не актуальна для нас и обладает лишь скромным обаянием симулякров второго порядка.³¹

Сегодня абстракция это больше не абстракция карты, дубликата, зеркала или концепта. Симуляция это больше не симуляция территории, референтного существа, субстанции. Она есть порождение моделями реального, лишённого происхождения и реальности: гиперреального. Территория больше не предшествует карте, ни переживает ее. Отныне территории предшествует карта – *прецессия симулякров* – теперь она [карта] порождает территорию и если вспомнить басню, то сегодня уже обрывки

³⁰ Примеч. переводчика. Поскольку данная фраза не встречается в Экклезиасте, то сама может служить примером чистого симулякра.

³¹ См.: Ж. Бодрийяр. Символический обмен и смерть, «Порядок симулякров», Париж, Gallimard, 1975.

территории медленно гниют на поверхности карты. Следы именно реальности, а не карты, еще обнаруживаются то здесь, то там в пустыне, которая уже давно не имеет отношения к той пустыне Империи, а является нашей [пустыней]. *Пустыней самого реального.*

Но в итоге, даже с обратным содержанием, басня неприменима. Единственно право на существование, наверно, может иметь аллегория с Империей. Поскольку именно все за тот же империализм нынешние симуляторы пытаются выдать реальное, все реальное, посредством своих моделей симуляции. Но речь не идет больше ни о карте, ни о территории. Кое-что исчезло: высшее отличие одного от другого, что и составляло шарм абстракции. Так как именно отличие создает поэзию карты и шарм территории, магию концепта и шарм реального. Эта мнимость репрезентации, которая достигает высшей точки и вместе с тем рушится в сумасшедшем проекте картографов идеального совпадения карты с территорией, исчезает в симуляции – чей эффект, ядерный и генетический, менее всего является зеркальным и дискурсивным. Вся метафизика уходит. Больше никакой зеркальности между существом и внешностью, реальным и его концептом. Больше никакой воображаемой коэкстенсивности: размером симуляции является генетическое сокращение размеров до предела. Реальное произведено из уменьшенных клеток, из матриц и воспоминаний, моделей приказа – и таким образом оно способно воспроизводиться бесконечное количество раз. Ему незачем больше быть рациональным, потому что оно не измеряется больше согласно какой-либо инстанции, идеальной или негативной. Отныне оно только операционально. В действительности, это больше и не реальное, так как никакое воображаемое его отныне не обволакивает. Это гиперреальное, произведенное в ходе излучающего синтеза комбинаторных моделей в гиперпространстве без атмосферы.

В этом переходе в пространство, чье искривление не относится больше ни к реальному, ни к истине, эра симуляции открывается уничтожением всех

референтов – хуже: их искусственным воскрешением в системах знаков, материале гораздо более коварном, чем смысл, подвластном всем системам эквивалентностей, всем бинарным оппозициям, любой комбинаторике. Речь не идет больше об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального знаками реального, то есть об операции устрашения всего реального процесса его операционным дубликатом, метастабильной знаковой машиной, программатичной, безупречной, которая дарует все знаки реального и минует при этом все перипетии. Больше никогда реальному не представится случая для самовоспроизводства – такова витальная функция модели в системе смерти, или скорее, предвосхищенного воскрешения, которое не оставит никакого шанса самому событию смерти.

Отныне гиперреальное находится в укрытии воображаемого и всякого различия реального и воображаемого, оставляя место лишь орбитальному повторению моделей и симулированному порождению отличий.

Божественная ирреферентность образов

Скрывать значит делать вид, что не имеешь того, что есть на самом деле. Симулировать значит делать вид, что имеешь то, чего нет на самом деле. Одно отсылает к присутствию, другое – к отсутствию. Но в итоге все гораздо сложнее, так как симулировать не значит делать вид: «Тот, кто изображает болезнь, может просто лечь в постель и заставить поверить в то, что он болен. Тот, кто симулирует болезнь, тем самым определяет в себе некоторые ее симптомы». (Литтре). Таким образом, изображать или скрывать оставляют нетронутым принцип реальности: различие всегда явно, оно не замаскировано. В то время как симуляция ставит под сомнение отличие

«истинного» от «ложного», «реального» от «воображаемого». Болен или нет симулятор, ведь он производит «настоящие» симптомы? Объективно его нельзя посчитать ни больным, ни не-больным. Психология и медицина на этом останавливаются, перед истиной ненаходимой, увы, болезни. Поскольку если любой симптом может быть «произведен», и не может быть больше получен как природное явление, то любая болезнь может быть интерпретирована как симулируемая и симулированная, и медицина теряет свой смысл, так как она умеет объяснять исключительно «настоящие» болезни по их объективным причинам. Психосоматика эволюционирует двусмысленным способом на грани принципа болезни. Что касается психоанализа, то он отсылает симптом органического порядка к порядку бессознательного: последний снова трактуется «истинным», более истинным, чем первый – но почему считается, что симуляция останавливается перед дверью бессознательного? Почему «работа» бессознательного не может быть «произведена» тем же самым образом, что и любой симптом классической медицины? Сны уже этим и являются.

Разумеется, врач-психиатр уверен в том, что «для каждой формы умопомешательства есть особое место в последовательности симптомов, о которой симулятор не знает, и чье отсутствие не ввело бы в заблуждение психиатра». Все это (датируемое 1865) для того, чтобы спасти, во что бы то ни стало, принцип истины и избежать вопроса, который задает симуляция – понять, что истина, референция, объективная причина перестали существовать. Однако, что может поделаться медицина с тем, что ускользает то там, то здесь от болезни, то там, то здесь от здоровья, с дублированием болезни в дискурсе, который не является больше ни истинным, ни ложным? Что может поделаться психоанализ с раздвоением дискурса бессознательного в дискурсе симуляции, который больше никогда не может быть скрыт, так как не является больше и ложным ³²?

³² И который не поддается решению в системе перевода. Смещение этих двух дискурсов делает психоанализ бесконечным.

Что может сделать армия с симуляторами? Обычно она их разоблачает и наказывает, согласно ясному принципу определения местонахождения предмета. Сегодня она способна переформировать очень хорошего симулятора в точности эквивалентного гомосексуалисту, сердечному больному или «настоящему» сумасшедшему. Даже военная психология отступает перед картезианскими истинами и не спешит делать различие между ложным и истинным, между симптомом «произведенным» и симптомом аутентичным. «Если он так хорошо изображает сумасшедшего, то, значит, он таковым и является. » И она не ошибается: в этом смысле, все умалишенные симулируют, и эта неразличимость является худшей из деструкций. Именно против нее классический разум вооружился всеми своими категориями. Но сегодня именно она опровергает их снова и уничтожает принцип истинности.

По ту сторону медицины и армии, областей выбора симуляции, вопрос отсылает к религии, и симулякру божества: «Я отстаивал точку зрения, что в храмах не может быть симулякра, потому что божество, оживляющее природу, не может быть репрезентировано». На самом деле может. Но чем оно становится, как только обнаруживается в иконах, когда оно множится в симулякрах? Остается ли оно высшей инстанцией, которая просто воплощается в образах видимой теологии? Или же оно исчезает в симулякрах, которые, единственные, раскрывают собственную роскошь и мощь ослепления – видимый механизм икон, заменяющий чистую и сверхчувственную идею Бога? Это именно то, чего так боялись иконоборцы, чья тысячелетняя борьба продолжается и по сей день.³³ А все потому, что они предчувствовали это всемогущество симулякров, их способность стирать Бога в сознании людей, и истина, которую они приоткрывают, разрушительная, всеуничтожающая, заключается в том, что в действительности Бога никогда и не было, что существовал всегда только

³³ См.: М. Перниола, Иконы, Образы, Симулякры, стр. 39.

симулякр, более того, сам Бог был всегда своим собственным симулякром – отсюда проистекало их бешеное желание разрушать образы. Если бы только они могли поверить в то, что образы служат лишь для того, чтобы скрывать и маскировать платоновскую Идею Бога, у них исчезли бы причины их разрушать. Можно жить, исходя из идеи искаженной истины. Но их метафизическая тоска происходила из идеи о том, что образы вовсе ничего не скрывают, и что, в целом, они являются не теми образами, которые меняются в самих себе посредством оригинальной модели, а совершенными симулякрами, излучающими навсегда свой собственный гипноз. Однако необходимо любой ценой предотвратить смерть божественного референта.

Мы видим, что иконоборцы, которых обвиняют в презрении и отрицании образов, были теми, кто по достоинству их оценивал, напротив, иконопочклонники, видевшие в них только отражения, довольствовались почитанием Бога в этой филигранной работе. Но можно сказать и наоборот, что иконопочклонники обладали самым современным духом, самым отважным, потому что под завесой исчезновения Бога в зеркале образов, они уже обыгрывали его смерть и его исчезновение в богоявлении его репрезентаций (о которых они, может быть, знали, что они уже ничего не представляют, что они чистая игра, но что именно там разворачивается великая игра – осознавая также, насколько опасно снимать с образов маску, поскольку они скрывают, что за ними нет ничего).

Так поступят Иезуиты, которые будут основывать свою политику на виртуальном исчезновении Бога, а также на мирской и зрелищной манипуляции сознанием – воскрешении Бога в богоявлении власти – конец трансценденции, которая служит отныне лишь алиби совершенно свободной стратегии влияний и знаков. За вычурностью образов прячется серое превосходство политики.

Таким образом, ставкой всегда будет убийственная мощь образов, убийственных для реального, убийственных для их собственной модели, как

византийские иконы могли быть убийственны для божественной идентичности. Этой убийственной мощи противостоит мощь репрезентаций, как мощь диалектическая, видимый и трансцендентный посредник Реального. Вся западная вера и совесть целиком ввязались в это пари репрезентации: пусть знак отсылает к глубине смысла, пусть знак заменит смысл, и пусть что-то обеспечит эту подмену – Бог, разумеется. Но если Бог сам может быть симулирован, то есть может быть сведен к знакам, образующим веру? Тогда вся система становится невесомой, она сама отныне есть не что иное, как гигантский симулякр – не нереальное, а симулякр, то есть не соотносится больше с реальным, а соотносится сама с собой, в непрерывном потоке, в котором ни референция, ни пространство больше не имеют место.

Такова симуляция в своем противопоставлении репрезентации. Последняя исходит из принципа эквивалентности знака и реальности (даже если эта эквивалентность утопична, это фундаментальная аксиома). Симуляция, наоборот, исходит из *утопии* принципа эквивалентности, исходит из *радикального отрицания знака как ценности*, исходит из знака как реверсии и уничтожения любой референции. В то время как репрезентация пытается поглотить симуляцию, интерпретируя ее как ложную репрезентацию, симуляция заволакивает все построение репрезентации, которое само подобно симулякру.

Таковы предположительно последовательные фазы эволюции образа:

- он есть отражение базовой реальности
- он маскирует и искажает базовую реальность
- он маскирует *отсутствие* базовой реальности
- он не имеет отношения к какой-либо реальности, чем бы она ни являлась: он является своим собственным чистым симулякром.

В первом случае, образ это *хорошая* видимость – репрезентация относится к порядку таинства. Во втором, он – *плохая* видимость – порядка порчи. В третьем – он *играет* в видимость – и относится к порядку колдовства. В четвертом, он уже относится не к порядку видимости, а к порядку симуляции.

Переход от знаков, которые скрывают что-то, к знакам, которые скрывают, что нет ничего, означает решительный поворот. Первые отсылают к теологии истины и тайны (что еще является частью идеологии). Вторые воздвигают эру симулякров и симуляции, где нет больше Бога, чтобы отличить своих, нет больше последнего Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от искусственного воскрешения, так как все уже мертво и заранее воскрешено.

Поскольку реальное не является больше тем, чем оно было, полный смысл обретает ностальгия. Повышение ценности оригинальных мифов и знаков реальности. Повышение ценности вторичной истины, объективности и аутентичности. Возвышение истинного, пережитого, воскрешение образного там, где объект и субстанция исчезли. Безумное производство реального и референтного, параллельное и превосходящее производство материальное: таковой предстает симуляция, в той фазе, которая касается нас – стратегия реального, нео-реального и гиперреального, которая повсюду удваивается стратегией устрашения.

Рамзес, или воскрешение в розовом свете

Этнология приблизилась к своей парадоксальной смерти в тот день 1971, когда правительство Филиппин решило воздать собственной первобытности, вопреки ожиданиям колонистов, туристов и этнологов, несколько десятков Тасади³⁴, которых недавно открыли в диких джунглях, и которые прожили там восемь веков без какого-либо контакта с человечеством. Все это по инициативе самих антропологов, на глазах у которых туземцы якобы «разлагались» как мумия на свежем воздухе.

Для того чтобы жила этнология, необходимо, чтобы умер ее объект, который, умирая, мстит за то, что был открыт, и бросает вызов науке, желающей его изучить.

Любая наука, не граничит ли она с этой парадоксальной чертой, на которую ее обрекает воскрешение ее собственного испуганного объекта, и безжалостная реверсия, которую оказывает на нее этот умерший объект? Таков Орфей, он возвращается всегда слишком рано, и, такова Эвридика, ее объект попадает в Ад.

Именно от этого адского парадокса решили предохранить себя этнологи, обвязав девственный лес, окружающий Тасади, лентой безопасности. Никто больше их не тронет: клад снова закрывается как взрывоопасная мина. Наука теряет на этом ценный капитал, но объект останется цел и невредим, потерян для нее, но нетронут в своей «первозданной чистоте». Речь не идет о жертве (наука никогда не приносит себя в жертву, она всегда убийственна), речь идет о симулированной жертве ее объекта, во имя спасения принципа реальности. Замороженный в своем естестве народ Тасади будет служить ей превосходным алиби, вечным залогом. Здесь начинается анти-этнология, которая на этом не завершится, и

³⁴ Примеч. переводчика. Племя Тасади, сохранившее первобытный уклад жизни, было открыто в 1971 году на Филиппинах.

свидетельством тому служат Хаулин, Кастанеда, Кластр³⁵. В любом случае, логическое развитие науки заключается в том, чтобы все время заранее отдаляться от своего объекта, вплоть до того, чтобы совсем без него обойтись: ее автономия в этом смысле только еще более фантастична, она достигает своей чистой формы.

Индейцы, сосланные в гетто, в хрустальном гробе девственного леса, становятся моделью симуляции всех возможных Индейцев *предшествующей этнологии*. Эта этнология позволяет себе роскошную возможность воплотиться вовне, в «грубой» реальности этих Индейцев, полностью заново изобретенных ей самой – Дикарей, которые обязаны этнологии тем, что остаются еще Дикарями: какой оборот, какой триумф для этой науки, которая, казалось, была призвана их уничтожить.

Разумеется, эти Дикари являются лишь потомками: замороженные, стерилизованные, защищенные от *смерти*, они стали референтными симулякрами, а сама наука стала чистой симуляцией. То же самое в Ле Крезе³⁶, в рамках «взорванного» музея, где на месте музифицировали в качестве «исторических» свидетельств своего времени целые рабочие кварталы, действующие металлургические зоны, культуру целиком, мужчин, женщин, включая детей – жесты, языки, обычаи, как живых ископаемых, запечатленных на фотографии. Музей, вместо того, чтобы быть заключенным в определенное пространство, отныне повсюду, как жизненное измерение. Таким образом, этнология, вместо того, чтобы претендовать на объективную науку, освобожденная от собственного объекта, распространяется отныне на все живые вещи, и становится невидимой, как вездесущее четвертое измерение, измерение симулякра. *Мы все Тасади*, Индейцы, снова ставшие тем, чем были когда-то, то есть, тем, чью сущность изменила этнология –

³⁵ Примеч. переводчика. Пьер Кластр – французский антрополог, анархо-примитивистский философ, живший в 60-х гг. среди индейцев Парагвая и Венесуэлы, исследователь южно-американских обществ.

³⁶ Примеч. переводчика. В Бургундии в городе Ле Крезе находится первый данного типа крупный экомузей Человека и промышленности, располагающий огромной территорией (свыше 500 тыс. кв. км с населением ок. 150 тыс. чел.) старого региона горнодобывающей промышленности. Среди музейных объектов - замок промышленников Шнейдеров, угольная шахта, средневековый монастырь, школа, канал, городская застройка и т.п.

Индейцы-симулякры, провозглашающие, наконец, универсальную истину этнологии.

Мы все заживо прошли через спектральный свет этнологии, или анти-этнологии, которая есть не что иное, как чистая форма триумфальной этнологии, под знаком умерших отличий, и воскрешения отличий. Было бы крайне наивно идти искать этнологию у Дикарей или где-нибудь в странах Третьего Мира – она здесь, повсюду, в метрополисах, среди Белых, в мире, который целиком взяли на учет, проанализировали, затем *искусственно воскресили под видом реального*, в мире симуляции, галлюцинации правды, шантажа реального, убийства любой символической формы и ее истеричной, исторической ретроспективы – убийства, за которое Дикари, положение обязывает, заплатили первыми, но которое уже давно распространилось на все западные общества.

Но одновременно этнология преподает нам свой единственный и последний урок, открывает нам тайну, которая ее убивает (и о которой Дикари знают лучше, чем она сама): месть умершего.

Заточение научного объекта равносильно заточению сумасшедших и мертвецов. И точно так же как целое общество безнадежно заражено этим зеркалом безумия, протянутым самому себе, так и науке остается только умереть, зараженной смертью объекта, являющегося обратной стороной ее собственного зеркала. Наука подчиняет себе объект лишь внешне, но именно он инвестирует ее на самом деле, согласно подсознательной реверсии, давая только мертвые и циркулярные ответы на мертвое и циркулярное вопрошание.

Ничто не изменится, если общество разобьет зеркало безумия (уничтожит приюты, даст свободу слова умалишенным, и т.д.), ни тогда, когда наука сделает вид, что разбивает зеркало своей объективности (уничтожает себя перед лицом собственного объекта, как у Кастанеды, и т.д.), и примиряется с «различиями». За формой заточения следует форма

приспособления, бесчисленного, преломленного, размноженного. По мере того, как этнология будет рушиться в своем классическом значении, она будет выживать в анти-этнологии, в чью задачу входит заново повсюду вводить псевдо-различие, псевдо-Первобытность, чтобы скрыть то, что это наш, именно наш мир стал первобытным на свой манер, то есть, опустошенным различием и смертью.

Тем же самым образом, под предлогом спасения оригинала, туристам запретили посещать пещеры Ласко³⁷, но зато была возведена прекрасная альтернатива в пятистах метрах, чтобы все имели возможность их видеть (вы бросаете беглый взгляд на аутентичную пещеру через глазок, а затем посещаете реконструированный ансамбль). Возможно, само воспоминание о настоящих гротах сотрется в сознании будущих поколений, но отныне уже нет больше разницы: двойника достаточно, чтобы обе пещеры стали искусственными.

Так, вся наука и техника с недавних пор мобилизовали все свои силы для того, чтобы спасти мумию Рамзеса II, после того, как они оставили ее гнить несколько десятков лет в подвалах какого-то музея. Запад охвачен паникой от одной только мысли о невозможности спасти то, что когда-то символический порядок мог сохранять на протяжении сорока веков, но вдалеке от взглядов и света. Рамзес ничего для нас не значит, и лишь только мумия обладает неизмеримой ценностью, так как она есть то, что гарантирует смысл накоплению. Вся наша линейная и накопительная культура рушится в том случае, если мы не способны копить прошлое на ярком свете. Для этого нужно вытащить фараонов из могил, а мумий из безмолвия. Для этого, их необходимо эксгумировать и воздать военные

³⁷ Примеч. переводчика. Пещера Ласко - которая находится во Франции, является одним из наилучших памятников эпохи палеолита, если судить по общему количеству и сохранности изображений на скалах. Некоторые ученые дали ей название «Сикстинская Капелла первобытной живописи». В 1948 г. вход в пещеру был оборудован для туристических посещений, которых становилось с каждым днём всё больше и больше, и со временем они стали угрожать сохранности наскальных изображений. В 1955 г. были замечены первые признаки повреждения изображений. Они возникли из-за избытка углекислого газа, появившегося от дыхания посетителей. В начале 1970-х гг. началось создание репродукции части пещеры. Она была открыта для широкой публики в 1983 г. и получила название Ласко 2.

почести. Они одновременно являются добычей для науки и для стихосложения. Абсолютная тайна единственно придавала им эту тысячелетнюю мощь – превосходство над гниением, которое означало превосходство над тотальным циклом обменов со смертью. Мы способны лишь поставить нашу науку на службу *восстановлению* мумии, то есть, реставрировать *видимый* порядок, в то время как бальзамирование являлось мифической работой, целью которой было обессмертить скрытое измерение.

Нам необходимо видимое прошлое, видимый континуум, видимый миф происхождения, который убеждал бы нас в нашей смертности. Так как в глубине души мы в нее никогда не верили. Отсюда эта историческая сцена встречи мумии в аэропорте Орли. Потому что Рамзес был великой деспотичной и военной фигурой? Конечно. Но особенно, потому что наша культура мечтает за этой умершей мощью, которую она старается присоединить, найти порядок, не имеющий с ней ничего общего, и мечтает она о нем, потому что уничтожила, эксгумируя его *как собственное прошлое*.

Мы ослеплены Рамзесом точно так же как христиане эпохи Возрождения были ослеплены Американскими Индейцами, этими (человеческими?) существами, которые никогда не знали слова Христа. Таким образом, в начале колонизации возник момент недоумения и шока от мысли, что возможно упустить универсальный закон Евангелие. Из чего вытекали две возможности: либо принять, что этот закон не был универсальным, либо истребить Индейцев, дабы стереть доказательства. В общем, довольствовались тем, что обратили их [Индейцев], или просто открыли, что и означало их медленное истребление.

Таким образом, достаточно будет эксгумировать Рамзеса для того, чтобы уничтожить, музеифицируя его. Так как мумии не гниют от стихосложения: они умирают, переходя от медленного порядка символического, хозяина гниения и смерти, к порядку истории, науки и музея, нашему порядку, который не властвует больше ни над чем, который

способен только предавать все, что ему предшествовало, гниению и смерти, и старается потом воскресить это наукой. Непримируемое насилие над всеми тайнами, насилие цивилизации, лишенной тайны, ненависть всей цивилизации к ее собственным основам.

И все, как и в этнологии, играющей в отказ от собственного объекта, для того, чтобы лучше утвердиться в своей чистой форме, так и демузейфикация есть не что иное, как дополнительная спираль в искусственности. Свидетельство тому, монастырь Сен-Мишель де Кюкса, который собираются репатриировать на значительные затраты Монастырей Нью-Йорка, чтобы переустановить его на «первоначальном месте». И все аплодируют этой перестановке (как «экспериментальной операции восстановления тротуаров» на Елисейских Полях!). Однако если экспортирование капителей было в действительности незаконным актом, если Монастыри Нью-Йорка являются превосходной искусственной мозаикой всех культур (согласно логике капиталистической централизации ценности), то само перемещение на территорию происхождения еще более искусственно: это тотальный симулякр, который достигает «реальности» через полное обращение.

Монастырь должен был бы остаться в Нью-Йорке в симулированной среде, которая, по крайней мере, никого не обманывала. Репатриировать его является дополнительной уловкой, для того, чтобы сделать вид, будто ничего не произошло, и насладиться ретроспективной галлюцинацией.

Так, американцы хвалятся тем, что довели численность Индейцев до той, что была до Завоевания. Стирается все и начинается заново. Они льстят себя надеждой даже о большем, что они превзошли изначальную цифру. Это будет доказательством превосходства цивилизации: она произведет Индейцев больше, чем они сами на то были способны. (По злой иронии, это перепроизводство является еще одним способом их уничтожить: так как индейская культура, как любая племенная культура, зиждется на

ограничении группы и отказе от любого произвольного роста, как это можно видеть у Иши. Именно здесь, в их демографическом «росте», кроется еще один шаг к символическому истреблению).

Так, повсюду мы живем в мире странным образом похожем на оригинал – вещи в нем продублированы по их собственному сценарию. Но это дублирование не означает, как традиционно, неизбежность их смерти – они уже вычеркнуты из собственной смерти, еще больше даже, чем из их жизни; более улыбающиеся, более аутентичные, в свете собственной модели, таковы лица *funeral homes*³⁸.

Гиперреальное и воображаемое

Диснейленд это совершенная модель всех порядков симулякров вместе взятых. Прежде всего, это игра иллюзий и фантазий: Пираты, Граница, Будущее, и т.д. Этот воображаемый мир нацелен на успешность операции. Но то, что привлекает толпы больше всего, это без сомнения социальный микрокосм, *религиозное* наслаждение миниатюрой реальной Америки, ее принуждений и радостей. Вы паркуетесь снаружи, стоите в очереди внутри, вас полностью покидают на выходе. Единственная фантасмагория в этом воображаемом мире – это фантасмагория нежности и теплоты, присущих толпе, а также фантасмагория чрезмерного количества забавных игрушек, достаточного, чтобы поддерживать массовый аффект. Контраст с абсолютным одиночеством паркинга – настоящего концлагеря – тотален. Или скорее: внутри огромный выбор веселых игрушек завораживает толпу парой управляемых потоков – снаружи, одиночество, направленное на

³⁸ Примеч. переводчика. Амер. «похоронный зал» (где гроб с телом стоит до погребения).

единственную игрушку: автомобиль. По странному совпадению (но это, несомненно, происходит от очарования, свойственного этому пространству), этот замороженный детский мир был задуман и реализован человеком, который сам сегодня находится под воздействием низких температур: Уолт Дисней, который ожидает своего воскрешения при 180 градусов ниже нуля.

Так повсюду в Диснейленде вырисовывается объективный контур Америки, даже в морфологии индивидов и толпы. Все ценности в нем превозносятся посредством миниатюры и мультфильма. Забальзамированы и усмирены. Отсюда возможность (Л. Марен это очень хорошо сделал в *Утопии, игры пространств*) идеологического анализа Диснейленда: *дайджест american way of life*³⁹, панегирик американских ценностей, идеализированная транспозиция противоречивой реальности. Конечно. Но за всем этим скрывается нечто другое и эта «идеологическая» нить сама служит прикрытием для *симуляции третьего порядка*: Диснейленд там для того, чтобы скрыть, что это «реальная» страна, вся «реальная» Америка – Диснейленд (немного похоже на то, что и тюрьмы там для того, чтобы скрыть, что все это социальное целиком, в своей банальной вездесущности, тюремно). Диснейленд считается воображаемым для того, чтобы заставить поверить, что все остальное реально, в то время как весь Лос-Анджелес и окружающая его Америка больше не реальны, а принадлежат порядку гиперреального и симуляции. Речь не идет больше о ложной репрезентации реальности (идеология), речь идет о том, чтобы скрыть, что реальное больше не реально, и, таким образом, о том, чтобы спасти принцип реальности.

Воображаемое Диснейленда ни истинно, ни ложно, это машина устрашения для регенерации фикции реального. Отсюда дебильность этого воображаемого, его инфантильная дегенерация. Этот мир претендует на то, чтобы быть инфантильным, чтобы заставить поверить, что взрослые снаружи, там, в «реальном» мире, и чтобы скрыть, что настоящая

³⁹ Примеч. переводчика. С англ.яз. Американский жизненный путь.

инфантильность повсюду, что инфантильность самих взрослых, которые приходят сюда поиграть в ребенка для того, чтобы обмануть насчет своей реальной инфантильности.

Впрочем, Диснейленд не единственный. Заколдованная Деревня, Волшебная Гора, Морской Мир: Лос-Анджелес окружен такого типа воображаемыми центрами, которые подпитывают реальным, энергией реального город, чья тайна заключается в том, чтобы быть не более чем сетью непрерывной, ирреальной циркуляции – город сказочных размеров, но без пространства, без масштабов. Сколько электрических и центральных атомных станций, столько же киностудий, этот город сам есть не что иное, как огромный сценарий, и бесконечное путешествие, и нуждается в этом пресловутом воображаемом словно в нервной симпатической системе, подающий сигналы детства и фальшивых фантазий.

Диснейленд: пространство регенерации воображаемого, как вокруг, да и здесь тоже, заводы по переработке отходов. Повсюду сегодня необходимо перерабатывать отходы, и сны, фантазии – воображаемое историческое, феерическое, легендарное, детей и взрослых – это отход, первый крупный токсический выброс гиперреальной цивилизации. Диснейленд – прототип этой новой функции в ментальном плане. Но тому же порядку принадлежат институты по сексуальной, психической, соматической переработке, которыми кишит Калифорния. Люди не смотрят больше друг на друга, но существуют институты для этого. Они не дотрагиваются больше друг до друга, но есть контактотерапия. Они не ходят пешком, но занимаются йогой, и т.д. Повсюду перерабатывают утерянные способности, или утерянное тело, или утерянную социальность, или утерянный вкус к пище. Снова изобретаются бедность, аскеза, исчезнувшая дикая первозданность: натуральная пища, здоровая пища, йога. Оправдывает себя, но на втором уровне, идея Маршалла Салинса, согласно которому, именно экономика

рынка, а не природа, выделяет нехватку: здесь на возвышенных окраинах экономики триумфального рынка заново изобретается нехватка/знак, нехватка/симулякр, симулированное состояние слаборазвитого (включая понятие, принятое в марксистских сочинениях), который [симулякр], под прикрытием экологии, энергетического кризиса и критики капитала, добавляет последний эзотерический ореол триумфу эзотерической культуры. Может быть, тем не менее, ментальная катастрофа, имплозия и беспрецедентная ментальная инволюция подстерегают систему такого рода, чьи видимые знаки были бы этой странной тучностью, или невероятным совмещением теорий и самых ненормальных практик, отвечающих невиданной коалиции люкса, неба и денег, невероятной шикарной материализации жизни и беспрецедентным противоречиям.

Политическое колдовство

Уотергейт⁴⁰. Тот же сценарий, что и в Диснейленде (эффект воображаемого, скрывающий, что больше нет реальности по ту сторону искусственного): здесь эффект скандала, скрывающий, что нет никакого

⁴⁰ Примеч.переводчика. Уотергейтский скандал - политический скандал в США 1972-1974, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. Первый за историю США случай, когда президент досрочно прекратил исполнение обязанностей при жизни. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов, на которых кандидат от Республиканской партии Ричард Никсон был переизбран на второй срок) в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, были задержаны проникшие в отель путём взлома 5 человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. До сих пор не доказана связь именно этого инцидента с администрацией Никсона. Уотергейтское дело продолжило цепь крупных политических скандалов в США, происходивших при многих американских правительствах и затрагивавших нередко деятельность президентов страны. «Уотергейт» стал отправной точкой для разоблачений других злоупотреблений властью в США, в частности для расследования незаконной деятельности Центрального разведывательного управления во внутренней жизни страны и его подрывной деятельности в зарубежных странах. Слово «Уотергейт» вошло в политический словарь многих языков мира в значении скандала, ведущего к краху карьеры главы государства. Последний слог в названии отеля — *гейт* — стал суффиксом, используемым для названия новых скандалов.

различия между фактами и их разоблачением (идентичные методы у людей ЦРУ и у журналистов *Уошингтон Пост*). Та же операция, стремящаяся регенерировать через скандал моральный и политический принцип, через воображаемое – погибающий принцип реальности.

Изобличение скандала – это всегда почесть, отдаваемая закону. И Уотергейту в особенности удалось навязать мысль о том, что он был скандалом – в этом смысле это была операция чудесной интоксикации. Хорошая доза введения политической морали на мировой арене. Можно было бы сказать вместе с Бурдьё⁴¹: «Истинная сущность всякого соотношения сил в том, чтобы скрыть себя в качестве такового и пользоваться всей полнотой своей силы только благодаря тому, что оно [соотношение] скрывает себя в качестве такового», подразумевая следующее: капитал, неморальный и без угрызений совести, может осуществляться только позади моральной суперструктуры, и всякий, кто регенерирует эту общественную моральность (возмущением, разоблачением и т.д.) спонтанно работает на порядок капитала. Как и журналисты *Уошингтон Пост*.

Но все это также было бы лишь формулой идеологии, и когда Бурдьё высказывает это, он подразумевает «соотношение сил» в качестве *истины* капиталистического превосходства, и *изобличает* само это силовое соотношение как *скандал* – и, таким образом, сам находится в той же детерминистской и моралистской позиции, что и журналисты *Уошингтон Пост*. Он осуществляет ту же чистку морального порядка, порядка истины, где укореняется настоящая символическая жестокость социального порядка, по ту сторону всех отношений силы, которые есть не что иное, как движущаяся и безразличная конфигурация в моральном и политическом сознании людей.

⁴¹ Примеч. переводчика. Пьер Бурдьё (фр. Pierre Bourdieu, 1930 - 2002) - французский социолог и философ, представитель постструктуралистского направления социальной теории, создатель теории социального поля (фр. *champ*), теории габитуса.

Все, чего от нас требует капитал: это принять его как рациональный, или уничтожить его во имя рациональности, принять его как моральный, или уничтожить его во имя моральности. Поскольку это *одно и то же*, и *может читаться в иной форме*: когда-то стремились скрыть скандал – сегодня стремятся скрыть, что это не скандал.

Уотергейт – не скандал, вот, что нужно говорить любой ценой, потому что это то, что все стремятся скрыть, это сокрытие, маскирующее развитие моральности, моральной паники, чтобы мы постепенно приближались к примитивной мизансцене капитала: его спонтанная жестокость, его непонятная кровожадность, его фундаментальная аморальность – вот, что скандально, неприемлемо в системе эквивалентности морали и экономики, являющейся аксиомой для мысли левых, начиная с теории братьев Люмьер и заканчивая коммунизмом. Капиталу приписывают эту идею контракта, но ему это абсолютно безразлично – он есть ужасное предприятие, без принципов, вот и все. Именно «светлая» мысль старается контролировать его, предписывая ему правила. И все эти обвинения, составляющие революционную мысль, сегодня снова упрекают капитал в том, что он не следует правилам игры. «Власть несправедлива, его справедливость – это классовая справедливость, капитал нас использует, и т.д. – как будто капитал связан контрактом с обществом, которым он управляет. Это левые протягивают капиталу зеркало эквивалентности, надеясь, что это его заденет, заденет эта фантазмагория социального контракта, и он будет выполнять свои обязанности по отношению ко всему обществу (одновременно с тем, нет необходимости в революции: достаточно, чтобы капитал присоединился к рациональной формуле обмена).

Сам капитал никогда не был связан контрактом с обществом, которым он управляет. Он есть колдовство социального отношения, он – *вызов обществу*, и он должен быть таковым. Он – не скандал, который нужно

изобличать согласно нравственной или экономической рациональности, он есть вызов, который следует принять согласно символическому правилу.

Негативность по спирали – Мёбиус

Уотергейт был, таким образом, лишь ловушкой, предоставленной системой своим противникам – симуляцией скандала в восстановительных целях. Это воплотилось в одном кинофильме с помощью персонажа «Дип Троат», о котором говорили, что он был серым превосходством республиканцев, манипулирующим журналистами от партии левых, дабы избавиться от Никсона – почему нет? Все гипотезы возможны, но вот эта лишняя: левые сами очень хорошо, и самопроизвольно, делают работу правых. Было бы впрочем, наивно искать в этом горькое здравомыслие. Так как правые, они тоже, бессознательно делают работу левых. Все гипотезы о манипуляции обратимы в бесконечном турникете. Так как манипуляция – это плавающая случайность, где порождаются и открываются позитивность и негативность, где нет больше ни активного, ни пассивного. Именно по *произвольной* остановке этой крутящейся случайности может быть спасен принцип политической реальности. И именно путем *симуляции* перспективного, условного ограниченного поля, где просчитываемы посылки и следствия акта или события, может поддерживаться политическая правдоподобность (и, разумеется, «объективный» анализ, борьба, и т.д.). Если представить полный цикл какого-либо действия или события, в системе с несуществующими больше линейной длительностью и диалектической полярностью, в поле, *поврежденном симуляцией*, то всякое определение

улетучивается, всякое действие упраздняется в завершении цикла, принеся пользу всем и распространившись во всех направлениях.

Таково покушение с бомбой в Италии, будь то акция левых экстремистов, или провокация со стороны правых экстремистов, или центристская выходка в целях подрыва позиций всех экстремальных террористов и завоевания своей шаткой власти, или еще лучше, полицейский сценарий и шантаж общественной безопасности? Все это верно одновременно, и поиск доказательств, даже объективность фактов, не приостанавливает это головокружение интерпретаций. Потому что мы находимся в логике симуляции, которая больше ничего общего не имеет с логикой фактов и разумным порядком. Симуляция характеризуется *прецессией модели*, всех моделей самому незначительному факту – модели здесь изначально, их циркуляция, орбитальная как и циркуляция бомбы, составляет настоящее магнитное поле события. Факты не имеют больше своей собственной траектории, они рождаются на пересечении моделей, один единственный факт может быть порожден всеми моделями сразу. Эта антиципация, эта прецессия, это короткое замыкание, это смешение факта с его моделью (больше никакого отклонения от смысла, больше никакой диалектической полярности, больше никакого отрицательного электричества, имплозия антагонистических полюсов), вот что оставляет каждый раз место любым интерпретациям, даже самым противоречивым – все они истинны, в том смысле, что их истину возможно подменить, образом моделей, из которых они происходят, в обобщенном цикле.

Коммунисты сваливают вину на социалистическую партию, как будто хотят разбить Союз левых. Они поддерживают идею о том, что эти противодействия идут, якобы, от более радикального политического требования. На самом деле, потому что они не хотят власти. Но не хотят они ее при данных обстоятельствах, неблагоприятных для левых в целом, или неблагоприятных для них внутри Союза левых – или они не хотят ее по

определению? Когда Берлингер объявляет: «Не нужно бояться того, что коммунисты захватывают власть в Италии», это означает одновременно:

– что бояться нечего, так как если коммунисты и придут к власти, то ничего не изменят в ее фундаментальном капиталистическом механизме;

– что нет никакого риска, что они вообще когда-либо придут к власти (по той причине, что они ее не хотят) – и даже если они будут у власти, то править они будут по доверенности;

– что на самом деле, власти, настоящей власти больше не существует, и, таким образом, нет никакого риска, что кто-либо ей завладеет или снова к ней придет;

– но еще: Я, Берлингер, не боюсь того, что коммунисты захватывают власть в Италии – что может показаться очевидным, но не настолько как кажется, потому что

– это может подразумевать обратное (и психоанализ для этого не нужен): я боюсь того, что коммунисты захватывают власть (и для этого существуют хорошие доводы, как и для коммуниста).

Все это верно одновременно. В этом секрет дискурса, который является теперь не только двусмысленным, каковыми могут быть политические дискурсы, но который выражает невозможность определенной позиции власти, невозможность определенной позиции дискурса. И такова логика не той или иной партии. Она пронизывает все дискурсы помимо их желания.

Кто распутает этот клубок? Гордеев узел можно было хотя бы перерубить. Если разделить ленту Мебиуса, то она превращается в дополнительную спираль, и обратимость поверхностей так и остается нерешенной (такова бесконечная обратимость гипотез). Ад симуляции, это уже не ад мучений, он ад изощренного скручивания смысла⁴², пагубного, еле ощутимого – где даже приговоренные Бургоса всего лишь подарок, сделанный Франко западной демократии, которая находит подходящий

⁴² Это не обязательно должно привести к безнадежности смысла, но скорее к импровизации смысла, бессмысленности, одновременной множественности смыслов, разрушающих друг друга.

случай возродить свой шаткий гуманизм, и чей возмущенный протест наоборот консолидирует режим Франко, сплачивая испанские массы против этого иностранного вторжения? Где во всем этом правда, если подобные сообщничества чудесным образом переплетаются даже без ведома их авторов?

Союз системы и ее экстремальной альтернативы как двух крайностей кривого зеркала, «порочная» кривизна политического пространства, отныне намагниченного, циркулярного, обратимого от правого к левому, скручивание, подобное злему гению коммутации, вся система, бесконечное капитала, сложилась на свою собственную поверхность: трансконечное? А не обстоит ли дело также с желанием и с либидинальным пространством? Союз желания и ценности, желания и капитала. Союз желания и закона, последнее волшебное наслаждение законом (вот почему он так широко обсуждается): только капитал испытывает наслаждение, говорил Лиотар, прежде чем заключить, что отныне это *мы* наслаждаемся в капитале. Ошеломляющее непостоянство желания у Делеза, загадочное возвращение, которое несет в себе желание, «революционное само по себе, и, как бы неохотно, желая то, что оно хочет желать», желая свою собственную репрессию, а также инвестировать параноические и фашистские системы? Мудреное скручивание, отсылающее эту революцию желания к той же фундаментальной двусмысленности, что и другая революция, историческая.

Все референты смешивают свои дискурсы в круговом принуждении Мебиуса. Секс и работа были до недавнего времени терминами непримиримо противопоставленными: сегодня они оба разрешаются в одном и том же типе запроса. Когда-то дискурс об истории жестко противопоставлялся дискурсу природы, дискурс желания – дискурсу власти – сегодня они обмениваются своими означающими и сценариями.

Было бы слишком долго пробегать по всему этому списку операциональной негативности, всех этих сценариев утрашения, которые, как Уотергейт, пытаются регенерировать умирающий принцип симулированными скандалом, фантазией, убийством – чем-то вроде гормонального лечения негативностью и кризисом. Речь все время идет о том, что доказательство реального осуществляется посредством воображаемого, доказательство правды – скандалом, доказательство закона – трансгрессией, доказательство работы – забастовкой, доказательство системы – кризисом и доказательство капитала – революцией, как, впрочем, (Тасади) доказательство этнологии – лишением собственного объекта – не считая: доказательство театра – антитеатром, доказательство искусства – антиискусством, доказательство педагогики – антипедагогикой, доказательство психиатрии – антипсихиатрией, и т.д.

Все превращается в свое противоположное выражение для того, чтобы выжить в своей вычеркнутой форме. Все власти, все институты говорят о самих себе посредством отрицания ради попытки посредством симуляции смерти избежать своей реальной агонии. Власть может изобразить свое собственное убийство, чтобы найти просвет существования и легитимности. Как и американские президенты: Кеннеди умирали, потому что еще обладали политической значимостью. Все другие, Джонсон, Никсон, Форд, имели право лишь на псевдопокушения, симулированные убийства. Но им, тем не менее, была необходима эта искусственная аура угрозы, чтобы скрыть то, что они были только марионетками власти. Король должен был когда-то умереть (бог тоже), именно в этом заключалась его власть. Сегодня он жалко пытается изобразить свою смерть, чтобы сохранить *милость* власти. Но она потеряна.

Искать свежую кровь в своей собственной смерти, перезапустить цикл посредством зеркала кризиса, негативности и анти-власти: единственное

решение-алиби любой власти, всякого института, пытающегося разбить порочный круг своей безответственности и своего фундаментального небытия, своего дежавю и *déjà-mort*⁴³.

Стратегия реального

Тому же порядку, что и невозможность снова обрести абсолютный уровень реального, принадлежит невозможность разыграть иллюзию. Иллюзия уже невозможна, потому что отныне невозможно реальное. В этом заключается вся *политическая* проблема пародии, гиперсимуляции или агрессивной симуляции.

Например: было бы интересно увидеть, как репрессивный аппарат не реагирует на симулированное ограбление более жестко, чем на реальное ограбление? Поскольку последнее нарушает лишь порядок вещей, право собственности, в то время как другое покушается на сам принцип реальности. Трансгрессия, жестокость менее важны, так как составляют всего лишь *часть* реального. Симуляция бесконечно более опасна, так как всегда позволяет предположить, по ту сторону своего объекта, что *порядок и закон сами, возможно, не что иное, как симуляция*.

Но сложность соизмерима с гибелью. Как симулировать преступление и извлечь из этого доказательство? Симулируйте кражу в крупном магазине: как убедить службу контроля в том, что кража симулирована? Никакой «объективной» разницы: те же жесты, те же знаки, что и в случае с реальной кражей, однако знаки не склоняют ни в одну, ни в другую сторону. С точки зрения установленного порядка они всегда относятся к порядку реального.

⁴³ Примеч. переводчика. По аналогии с дежавю (*déjà-vu*) = дословно уже увиденный, *déjà-mort* = уже умерший.

Организируйте ложное ограбление. Хорошенько проверьте, что у вас холостое оружие, и возьмите самого надежного заложника, чтобы ни одна человеческая жизнь не была поставлена под угрозу (иначе речь пойдет об уголовном деле). Потребуйте выкуп и сделайте так, чтобы операция стала как можно более шумной – короче, максимально приблизьтесь к «правде», дабы испытать реакцию аппарата на совершенный симулякр. У вас ничего не выйдет: поток искусственных знаков окончательно смешается с реальными элементами (полицейский реально будет стрелять у всех на глазах; какой-нибудь клиент банка потеряет сознание и умрет от сердечного приступа; вам действительно отдадут выкуп), короче, вы мгновенно окажетесь, сами того не желая, в реальности, одной из функций которой является уничтожать любую попытку симуляции, сводить все к реальному – именно таков порядок, установленный задолго до входа в игру институтов и правосудия.

В этой невозможности изолировать процесс симуляции необходимо увидеть значимость порядка, который способен видеть и постигать только реальное, потому что он не может больше нигде функционировать. За симуляцией правонарушения, если она доказана, последует или наказание в более легкой форме (если нет «последствий»), или наказание за нанесение оскорбления общественному министерству (например, если полицейскую операцию развернули «напрасно») – но *никогда как за симуляцию*, потому что в действительности в качестве таковой она делает невозможной какую-либо эквивалентность с реальным, а стало быть, и какую-либо репрессию тоже. Вызов симуляции не доступен для власти. Как наказать симуляцию добродетели? Тем не менее, как таковая, она важна так же, как и симуляция преступления. Пародия приравнивает подчинение и нарушение, и в этом самое тяжкое преступление, *поскольку оно сводит на нет различие, на котором базируется закон*. Установленный порядок бессилен против этого, потому что закон это симулякр второго порядка, тогда как симуляция относится к третьему порядку, по ту сторону истинного и ложного, по ту

сторону эквивалентов, по ту сторону рациональных различий, благодаря которым функционируют все социальное и вся власть. Таким образом, именно там, в отсутствие реального, необходимо намечать порядок.

Вот почему последний [порядок] всегда выбирает реальность. В сомнении, он всегда предпочитает эту гипотезу (так, в армии, симулятора предпочтительно принять за настоящего сумасшедшего). Но это становится все более и более сложно, так как, если невозможно практически изолировать процесс симуляции, то по закону инерции окружающего нас реального, обратное также является истинным (и сама эта обратимость является частью устройства симуляции и беспомощности власти): к сведению, *отныне невозможно уже ни изолировать процесс реального, ни доказать реальное.*

Именно поэтому все вооруженные ограбления, угоны самолетов, и т.д. являются отныне в каком-то роде симулированными ограблениями, в том смысле, что все они заранее расписаны в расшифровке и ритуальной оркестровке медиа, predeterminedенные в мизансцене и возможных последствиях. Короче говоря, там, где они функционируют как ансамбль знаков, обреченные только на повторение знаков, и совершенно не на их «реальную» цель. Но это не делает их безобидными. Наоборот, именно как события гиперреальные, не обладающие в сущности ни содержанием, ни собственными целями, но бесконечно преломленные одни другими (также как и события, названные историческими: восстания, демонстрации, кризисы и т.д.⁴⁴), именно в этом они неконтролируемы со стороны порядка, способного осуществляться только по отношению к реальному и рациональному, причинам и целям, со стороны референциального порядка, который может царить только в референциальном, со стороны детерминированной власти, которая может управлять только

⁴⁴ Энергетический кризис, экологическая мизансцена сами есть не что иное, как фильм-катастрофа, того же стиля (и обладающие одной и той же ценностью), что и фильмы, которые сегодня преспокойно делают на Голливуде. Бесплезно интерпретировать подробно эти фильмы в их отношении к социальному «объективному» кризису или даже «объективной» фантазии катастрофы. В совершенно другом смысле нужно сказать, что это именно *само социальное*, в актуальном дискурсе, *организуется по сценарию фильма-катастрофы*. (См. М. Макариус. Стратегия катастрофы, стр. 115).

детерминированным миром, и которая ни на что не способна в отношении этого бесконечного повторения симуляции, этой невесомой туманности, не подчиняющейся больше законам гравитации реального, сама власть начинает дезорганизовываться в этом пространстве и становится симуляцией власти (отделенная от своих задач и конечных целей, и обреченная на *эффекты власти* и массовой симуляции).

Единственное оружие власти, ее единственная стратегия против этого отступничества, заключается в том, чтобы снова впрыскивать повсюду реальное и референциальное, убеждать нас в реальности социального, в гравитации экономики и конечных целях производства. Для этого она предпочитает использовать дискурс кризиса, а также, почему бы и нет?, дискурс желания. «Примите ваши желания за реальность!», что может быть принято за лозунг власти, так как в ирреферентном мире, даже смешение принципа реальности и принципа желания менее опасно, чем заразная гиперреальность. Вы остаетесь между принципами, а там власть всегда права.

Гиперреальность и симуляция устрашают всякий принцип и любую цель, они оборачивают против власти то устрашение, которое она так хорошо использовала долгое время. Поскольку, наконец, именно капитал в первую очередь подпитывался, на протяжении собственной истории, деструктуризацией всякого референта, любой цели человечества, деструктуризацией, которая разбила все различия между истинным и ложным, добром и злом, чтобы основать радикальный закон эквивалентностей и обменов, железный закон своей власти. Он первым разыграл устрашение, абстракцию, отсоединение, детерриториализацию, и т.д., и если он поддерживал реальность, принцип реальности, то он и первый ее ликвидировал, истребляя любую обычную ценность, всякую реальную эквивалентность, производства и богатства, в самом ощущении того, что мы обладаем ирреальностью ставок и всемогуществом манипуляции. Однако

именно все та же самая логика сегодня самым радикальным образом оборачивается *против* него. И когда он хочет побороть эту катастрофическую спираль, выделяя последний луч реальности, чтобы основать на нем последний луч власти, то тем самым он только приумножает ее знаки и ускоряет игру симуляции.

Пока историческая угроза шла к нему от реального, власть разыграла устрашение и симуляцию, дезинтегрируя все противоречия при помощи производства эквивалентных знаков. Сегодня, когда угроза происходит из симуляции (улетучивающейся в игре знаков), власть разыгрывает реальное, разыгрывает кризис, играет перепроизводство искусственных, социальных, экономических, политических ставок. Теперь это для нее вопрос жизни и смерти. Но уже слишком поздно.

Отсюда характерная истерия нашего времени: истерия производства и перепроизводства реального. Другое производство, ценностей и товаров, производство «бель-эпок»⁴⁵ политической экономии, не обладает больше собственным смыслом, уже долгое время. То, что все общество целиком ищет, продолжая производить и перепроизводить, но вот воскресить реальное ему не удастся. Вот почему *это «материальное» производство само сегодня гиперреально*. Оно сохраняет все черты, весь дискурс производства традиционного, но оно не более чем его приумноженное преломление (так гиперреалисты фиксируют в галлюцинирующем сходстве реальное, из которого исчезли весь смысл и шарм, вся глубина и энергия репрезентации). Так повсюду гиперреализм симуляции выражается в галлюцинирующем сходстве реального с самим собой.

Власть также уже долгое время производит лишь знаки собственного сходства. И внезапно, разворачивается другая фигура власти: фигура коллективного запроса *знаков* власти – священный союз, который создается

⁴⁵ Примеч. переводчика. Фр. *belle époque* – начало XX века.

вокруг исчезновения. Все к нему примыкают более или менее из страха этого крушения политического. И игра власти становится не более чем *критическим* наваждением власти – наваждением ее смерти, наваждением ее выживания, по мере того, как она исчезает. Когда она полностью исчезнет, мы будем пребывать логически в тотальной галлюцинации власти – навязчивой идее, такой, какая она уже повсюду вырисовывается, выражая одновременно непреодолимое желание от нее отделаться (никто ее уже не хочет, все хотят всучить ее друг другу) и паническую ностальгию по ее потере. Меланхолия общества без власти: именно она уже вызвала фашизм, эту сверхдозу сильного референта в обществе, неспособном закончить работу скорби.

По мере истощения политической сферы Президент становится все более похожим на ту Марионетку Власти, которой является глава примитивных обществ (Кластр).

Все последующие президенты платят и продолжают платить за убийство Кеннеди, как будто это они его когда-то уничтожили – что верно фантазийно, но не по фактам. Нужно, чтобы они искупили этот недостаток и это сообщничество своим симулированным убийством. Так как оно может быть только симулированным. Президенты Джонсон, Форд, все были объектом неудавшихся покушений, о которых можно подумать, что если они были не мизансценой, то, как минимум, совершены посредством симуляции. Кеннеди умирали, потому что они что-то воплощали: политическое, политическую субстанцию, в то время как новые президенты есть не более чем собственная карикатура и марионеточная киноплёнка – любопытно, у них у всех, Джонсона, Никсона, Форда, обезьяньи морды, обезьяны власти.

Смерть никогда не является абсолютным критерием, но в этом случае она значима: эра Джеймсов Динов, Мэрилин Монро и Кеннеди, тех, кто

умирал реально, именно потому, что они обладали мифическим измерением, включающим в себя смерть (не исходя из романтизма, но согласно фундаментальному принципу реверсии и обмена) – эта эра завершена. Отныне это эра симулированного убийства, генерализированной эстетики симуляции, убийства-алиби – аллегорического воскрешения смерти, которая там только для того, чтобы санкционировать институт власти, не обладающей без этого ни субстанцией, ни автономной реальностью.

Эти мизансцены президентских покушений показательны, потому что сигнализируют о статусе полной негативности на Западе: политическая оппозиция, «левые силы», критический дискурс, и т.д. – уродливый симулякр, при помощи которого власть старается разорвать порочный круг своего небытия, своей фундаментальной безответственности, своего «колебания». Власть колеблется как монета, как язык, как теории. Единственно критика и негативность еще секретируют фантом реальности власти. Если они истощатся по той или иной причине, то у власти не будет другого выхода кроме как искусственно их воскресить, создать из них галлюцинацию.

Именно так испанские казни еще служат стимулом для западной либеральной демократии, для агонизирующей демократической системы ценностей. Свежая кровь, но как долго еще? Деграция всех властей неуклонно продолжается: это не столько «революционные силы» ускоряют этот процесс (часто как раз наоборот), сама система испытывает на своих собственных структурах эту жестокость, уничтожающую всякую субстанцию и всякую финальность. Не нужно противостоять этому процессу, пытаюсь выступить против системы и разрушить ее, так как она, погибая от лишения

собственной смерти, ждет от нас только этого: чтобы мы ей ее вернули, чтобы мы воскресили ее посредством отрицания. Конец революционных практик, конец диалектики. – Любопытно, Никсон, которого даже не посчитали достойным умереть от руки какого-нибудь случайного неуравновешенного человека (и то, что президентов убивают неуравновешенные люди, может быть и правда, но это *ничего* не меняет в истории: неистовое желание левых найти здесь заговор правых поднимает ложную проблему – функция нести смерть, или провидение, и т.д., против власти, всегда исполнялась, начиная с первобытных обществ, сумасшедшими, невропатами или безумцами, которые являются не меньшими носителями социальной функции, такой же фундаментальной, что и функция президентов), оказался тем не менее ритуально предан смерти Уотергейтом. Уотергейт это еще одно устройство ритуального убийства власти (американский институт Президиума намного больше впечатляет в этом плане, чем европейские: он сохраняет вокруг себя всю жестокость и переменчивость примитивных властей, диких ритуалов). Но импичмент – это уже больше не убийство: он проходит по Конституции. Никсон, по крайней мере, достиг той цели, о которой мечтает любая власть: быть достаточно принятым всерьез, представлять для группы достаточно смертельную опасность, чтобы однажды быть смещенным, отринутым и ликвидированным. У Форда уже нет даже этого шанса: симулякр уже умершей власти, он может лишь накапливать против нее знаки реверсии посредством убийства – в действительности, он иммунизирован собственной беспомощностью, тем, чем он приводит в ярость.

В противоположность примитивному ритуалу, который предполагает официальную и искусственную смерть короля (король или глава – ничто без обещания собственной жертвы), современное политическое воображаемое переходит все более и более к смыслу отдаления, сокрытия как можно более

долго смерти главы Государства. Эта идефикс набрала оборот со времен революций и харизматичных лидеров: Гитлер, Франко, Мао, не имея «легитимных» наследников, преемников власти, были обречены на то, чтобы их пережили на безграничный период времени – популярный миф не желает их когда-либо счесть умершими. Таким же образом, уже у фараонов: это всегда была единственная и одна и та же личность, которую последовательно воплощали по очереди фараоны.

Все происходит так, будто Мао или Франко уже множество раз умирали и замещались своими двойниками. С политической точки зрения, это строго ничего не меняет, является глава Государства тем же или другим, лишь бы они были похожи друг на друга. В любом случае, уже долгое время глава Государства – *неважно кто* – есть лишь симулякр самого себя, и *это единственное, что дает власть и качество управления*. Никто не отдал бы ни малейшего согласия, ни малейшей преданности *реальной* личности. Именно к его дубликату, так как сам он уже *умер*, испытывают верноподданнические чувства. Этот миф выражает лишь постоянство и одновременно разочарование в требовании жертвенной смерти короля.

Мы все еще здесь: ни одно из наших обществ не умеет вести работу скорби по реальному, власти, *самому социальному*, имплицитному в одну и ту же утрату. И именно путем искусственного обострения, мы пытаемся этого избежать. *Это даже без сомнения закончится социализмом*. Неожиданным вращением и иронией, которая не является больше иронией истории, из смерти социального возникнет социализм, также как из смерти Бога возникают религии. Изворотливое пришествие, извращенное событие, реверсия, неподвластная логике разума. Таким же является тот факт, что власть здесь, в сущности, только для того, чтобы скрыть, что ее больше нет. Симуляция, которая может длиться бесконечно, так как, в отличие от

«настоящего», власть, которая является, или являлась структурой, стратегией, отношением силы, ставкой, теперь не больше чем объект общественного *запроса*, и, таким образом, объект закона дара и просьбы, и не допускает больше жестокость и смерть. Полностью вычеркнутая из политического пространства, как и любой другой товар, она восстанавливает производство и потребление. Вся искра исчезла, одна лишь фикция политической вселенной жива.

Из этого также следует и работа. Вспышки производства, жестокости ее ставок больше не существует. Весь мир производит еще, и все больше и больше, но незаметно работа стала чем-то иным: потребностью (как ее идеально представлял Маркс, но совершенно в другом смысле), объектом социального «запроса», как и время для отдыха, к которому она приравнивается в основной диспетчеризации жизни. Запрос точно пропорционален потере ставки в процессе работы⁴⁶. Та же перипетия, что и с властью: *сценарий* работы там для того, чтобы скрыть, что реальное работы, реальное производства исчезло. И реальное забастовки, точно также, это больше не приостановка работы, а ее альтернативный полюс в ритуальном скандировании социального года. Все происходит так, как если бы каждый «занял», после заявления забастовки, свое место и рабочий пост, и возобновил, как это строго происходит в «самоуправляемой» деятельности, производство, абсолютно в том же самом смысле, что и раньше, продолжая считать себя (и будучи виртуально) в состоянии продолжающейся забастовки.

Это не научно-фантастический сон: повсюду речь идет о дублировании процесса работы. И о дублировании процесса забастовки – включенной

⁴⁶ Этому снижению инвестирования работы соответствует параллельное падение инвестирования потребления. Конец принятой или ценности престижа автомобиля, конец любовному дискурсу, который четко противопоставлял объект наслаждения объекту работы. Некий другой дискурс приходит на смену, это *дискурс работы над объектом потребления*, имеющий целью активное реинвестирование, принудительное, пуританское (используйте меньше бензина, следите за вашей безопасностью, скорость превышена, и т.д.), адаптацию к которому характеристики автомобилей симулируют. Снова найти ставку посредством инверсии полюсов. Работа становится объектом потребности, машина становится объектом работы. Нет лучшего доказательства неразличимости всех ставок. Именно все тем же смещением от «права» голосования к избирательному «долгу», ознаменовывает себя сокращение инвестиций политической сферы.

забастовки, как моральный износ в оборудование, как кризис в производство. Нет больше ни работы, ни забастовки, но есть сразу и то, и другое, то есть нечто совершенно иное: некая *магия работы*, обман зрения, сцендрама производства (чтобы не сказать мелодрама), коллективная драматургия на пустой сцене социального.

Речь не идет больше об *идеологии* работы – традиционной этике, которая скрывает бы «реальный» процесс работы и «объективный» процесс эксплуатации – но о сценарии работы. Также речь не идет и об идеологии власти, но о *сценарии* власти. Идеология соответствует только расплате реальности знаками, симуляция соответствует короткому замыканию реальности и ее удвоению при помощи знаков. В этом всегда состоит конечная цель идеологического анализа, восстановить объективный процесс, и всегда ложной задачей является желание восстановить правду посредством симулякра.

Вот почему власть в глубине души настолько согласна с идеологическими дискурсами и дискурсами об идеологии, так как они являются дискурсами *правды* – всегда готовые, даже и в особенности, если они революционны, противостоять смертельным ударам симуляции.

Конец паноптического

Все еще к этой идеологии пережитого, эксгумации, реального в его базовой банальности, в его радикальной аутентичности, относится американский опыт ТВ-правды, проведенный в 1971 над семьей Лоудов: семь месяцев непрерывных съемок, триста часов непосредственной съемки, бес сценария и поправок, одиссея одной семьи, ее драмы, радости,

перипетии, нонстоп – короче говоря, исторический документ «брют», и «самый красивый подвиг телевидения, сравнимый, с высоты нашей повседневности, с фильмом о высадке на Луну». Все усложняется тем, что семья распалась во время съемок: разразился скандал, Лоуды расстались и т.д. Отсюда неразрешимый вопрос:

ответственно ли за это ТВ? Что бы было, *если бы ТВ в этом не участвовало?*

Более интересна фантазия снимать Лоудов так, как будто ТВ там нет. Триумф режиссера состоял во фразе: «Они жили так, словно нас там и не было». Абсурдная, парадоксальная формулировка – ни истинная, ни ложная, утопичная. «Словно *нас* там и не было» равнозначно «словно *вы* там были». И именно эта утопия, этот парадокс ослепил двадцать миллионов телезрителей, намного сильнее, чем «извращенное» желание нарушить интимность. Речь не идет ни о тайне, ни об извращении в опыте «правда», но о некоем роде содрогания реального, или об эстетике гиперреального, содрогании головокружительной точности с трюками, содрогании от дистанцирования и приближения одновременно, иерархическом искажении, чрезмерной прозрачности. Наслаждение избытком смысла, когда планка смысла опускается ниже обычной ватерлинии смысла: незначающее преувеличивается посредством близкой съемкой. Становится видно, что реального никогда не было (но «словно вы там были»), без той дистанции, которая составляет пространство перспективы и наше объемное видение (но более «настоящее, чем природное»). Наслаждение микроскопической симуляцией, которая заставляет реальное переходить в гиперреальное. (Это немного как в порнографии, ослепление от которой скорее метафизично, чем сексуально).

Эта семья, впрочем, была гиперреальна уже с самого ее выбора: типичная идеальная американская семья, калифорнийский дом, три гаража, пятеро детей, социальный и профессиональный статус выше среднего,

примерная домохозяйка, *standing uppermiddle*⁴⁷. Именно это статистическое совершенство в каком-то смысле, обрекает ее на смерть. Идеальная героиня американского *way of life*, как в античных жертвоприношениях, она выбрана, чтобы быть превознесенной и умереть под огни медиума, современного фатума. Так как небесный огонь не снисходит больше на развращенные города, то теперь объектив разрезает как лазер прожитую реальность, чтобы предать ее смерти. «Лоуды: просто семья, которая согласилась отдать себя телевидению, и умереть от него», – скажет позже режиссер. Речь идет, таким образом, о жертвенном процессе, о жертвенном спектакле, подаренном двадцати миллионам американцев. Литургическая драма массового общества.

ТВ-правда. Замечательный термин в своей двусмысленности, идет ли речь о правде этой семьи или о правде ТВ? В действительности, ТВ, как правда Лоудов, именно оно является настоящим, именно оно делает правдивым. Правда [ТВ], которая больше не является отражающей, зеркальной, ни перспективной, относящейся к системе паноптики и взгляда, но манипулирующая [правда], правда теста, который опрашивает и задает вопросы, [правда] лазера, осязающего и разрезающего, [правда] матриц, хранящих ваши продырявленные кадры, правда генетического кода, задающего ваши комбинации, клеток, которые информируют вашу чувственную вселенную. Именно такой правде подверглась семья Лоудов посредством медиума ТВ, и в этом смысле речь идет о предании смерти (но идет ли речь о правде?).

Конец паноптической системы. Глаз ТВ больше не является источником абсолютного взгляда, а идеал контроля больше не идеал прозрачности. Последний еще предполагает объективное пространство (пространство Ренессанса), и всемогущество деспотического взгляда. Это, если еще не система заключения, то, по крайней мере, система расположения

⁴⁷ Примеч. переводчика. *Standing uppermiddle* – (с англ. яз.) репутация, положение в обществе, соответствующее классу крупной буржуазии.

в шахматном порядке. Более тонкая, но все еще снаружи, играющая на противопоставлении видеть и быть увиденным, даже если фокусная точка паноптического⁴⁸ может быть слепой.

Нечто иное с Лоудами, «Вы не смотрите больше ТВ, это ТВ смотрит вас (как вы живете)», или еще: «Вы не слушаете больше Без Паники⁴⁹, это Без Паники слушает вас» – поворот паноптического устройства наблюдения (Надзирать и наказывать) к системе устрашения, где различие пассивного и активного уничтожено. Больше нет императива подчинения модели, или взгляду. «Вы есть модель!» «Это Вы – большинство!» Таков аспект гиперреалистичной социальности, когда реальное смешивается с моделью, как в статистической операции, или с медиумом, как в операции Лоуды. Такова последующая, наша стадия общественных отношений, это больше не стадия убежденности (классическая эра пропаганды, идеологии, рекламы и т.д.), это стадия разубеждения: «Вы есть информация, вы есть социальное, это вы являетесь событием, это вас касается, у вас есть слово, и т.д.». Возврат, из-за которого становится невозможно локализовать инстанцию модели, власти, взгляда, самого медиума, потому что вы всегда уже по другую сторону. Больше никакого субъекта, никакой фокусной точки, ни центра, ни периферии: чистый изгиб или круговое отклонение. Больше ни жестокости, ни надзора: только «информация», тайная вирулентность, цепочечная реакция, медленная имплозия и симулякры пространств, в которых еще играет эффект реального.

Мы являемся свидетелями кончины перспективного и паноптического пространства (еще моральная гипотеза и солидарная со всеми классическими анализами «объективной» сущности власти), и, таким образом, самого уничтожения зрелищного. Телевидение, например, в случае с Лоудами, больше не зрелищный медиум. Мы больше не в обществе спектакля, о

⁴⁸ Примеч. переводчика. Panoptique – (с фр. яз.) в пеницитарной системе средство, позволяющее наблюдать (одновременно) за каждым заключенным. От греч. panoptes, pan- все, hōraō-вижу, всевидящий.

⁴⁹ Примеч. переводчика. Pas de panique (Без паники) – французская телепередача на канале TV5.

котором говорили ситуационисты, ни тем более в жанре специфического отчуждения и репрессии, которые оно предполагало. Сам медиум больше не ощутим как таковой, и смешение медиума и сообщения (Мак-Люэн)⁵⁰ – это первая великая формула этой новой эры. Нет больше медиума в буквальном смысле: отныне он неощутим, рассеян и преломлен в реальном, и невозможно даже больше сказать, что он всем этим искажен.

Таково вмешательство, таково вирусное, эпидемическое, хроническое, паническое присутствие медиума, такое, что невозможно отчетливо выделить его воздействия – спектрализованное, таковы эти рекламные скульптуры под прицелом лазера в пустом пространстве, события, отфильтрованного

⁵⁰ Смешение медиум/сообщение разумеется коррелирует со смешением говорящий и слушатель, закрепляющее, таким образом, исчезновение всех дуальных и полярных структур, которые составляли дискурсивную организацию языка, всей детерминированной артикуляции смысла, отсылая к знаменитой таблице функций Якобсона. Дискурс «циркулирует» нужно воспринимать в буквальном смысле: то есть, что он больше не движется из одного пункта в другой, но проходит цикл, *неотчетливо* охватывающий позиции передающего и получателя, отныне неуловимые в качестве таковых. Таким образом, больше нет инстанции власти, передающей инстанции – власть есть нечто, что циркулирует, и чей источник больше не определяется, цикл, в котором меняются местами позиции доминирующего и доминируемого в бесконечной реверсии, которая есть также конец власти в ее классической дефиниции. Вращаемость власти, знания, дискурса кладет конец любой локализации инстанций и полюсов. В самой психоаналитической интерпретации, «власть» интерпретирующего происходит не из какой-то внешней инстанции, а из самого интерпретируемого. Это меняет все, так как у традиционных обладателей власти можно всегда спросить, откуда они ей обрели. Кто сделал тебя герцогом? Король. Кто сделал тебя королем? Бог. Только Бог уже больше не отвечает. Но на вопрос: кто сделал тебя психоаналитиком? аналитик без затруднений ответит: Ты. Так выражается, посредством инвертированной симуляцией, переход от «анализируемого» к «анализирующему», от пассивного к активному, который лишь описывает эффект кружения зависимостей полюсов, кругообразности, в которой власть теряется, растворяется, разрешается в совершенной манипуляции (не существует больше порядка властной инстанции или инстанции взгляда, но существует порядок тактильности и коммутации). Посмотрите также на кругообразность Государство/семья, обеспеченная метастатическим колебанием и регулированием образов социального и частного. (Ж. Донзело, Полиция семей, Париж, Миннои, 1977).

Невозможно отныне задать знаменитый вопрос: «Откуда вы говорите?» – «Откуда вы знаете?» – «Откуда вы держите власть?», без того, чтобы немедленно услышать ответ: «Но я *от* вас (исходя из вас) говорю» – подразумевая, это вы говорите, это вы знаете, это вы есть власть. Гигантское вращение, многословие слова, которое равнозначно шантажу без происхождения, устрашению без обращения предполагаемого субъекта разговора, но оставляющее без ответа, потому что на вопросы, которые он задает, ему неизбежно отвечают: но это вы есть вопрос, или: ваш вопрос это уже есть ответ, и т.д. – вся удушающая софистика улавливания слова, принудительного признания под видом свободы выражения, разворачивания сюжета к его собственному вопросу, прецессии ответа вопросу (вся жестокость интерпретации в этом, а также жестокость сознательного или бессознательного самоуправления «слова»).

Этот симулякр инверсии и инволюции полюсов, эта гениальная уловка, являющаяся секретом всего дискурса манипуляции, и, таким образом, сегодня, всех областей, секрет любого уровня власти в стирании сцены власти, в допущении всех слов, результатом которых является это фантастическое молчаливое большинство, характеристика нашего времени – все это без сомнения началось в политической сфере с демократическим симулякром, то есть с замещением инстанции Бога инстанцией народа в качестве источника власти, и замещением власти как *эманации* властью как *репрезентацией*. Анти-коперниковская революция: больше никакой трансцендентной инстанции, ни солнца, ни светящегося источника власти и знания – все происходит из народа и все туда же возвращается. Именно с этой великолепной переработкой отходов устанавливается, начиная со сценария массового избирательного права и заканчивая актуальными фантомами опросов, универсальный симулякр манипуляции.

медиумом – растворение ТВ в жизни, растворение жизни в ТВ – неразличимый химический раствор: мы все Лоуды, обреченные не на вторжение, давление, жестокость и шантаж медиа и моделей, а на их индукцию, проникновение, на их нечитаемую жестокость.

Но необходимо быть осторожным с негативным оборотом, который навязывает дискурс: речь не идет ни о недуге, ни о вирусном заболевании. Нужно скорее предполагать, что медиа, на внешней орбите, это вид генетического кода, который задает превращение реального в гиперреальное, в точности так же как и другой код, микромолекулярный, задает переход репрезентативной сферы смысла в генетическую сферу запрограммированного сигнала.

То, что ставится под вопрос, так это весь традиционный модус каузальности: перспективный, детерминистский модус, «активный», критический модус, аналитический модус – различение причины и следствия, активного и пассивного, субъекта и объекта, цели и средств. Именно об этом модусе можно сказать: ТВ нас смотрит, ТВ нас отчуждает, ТВ нами манипулирует, ТВ нас информирует... Во всем этом мы по-прежнему зависим от аналитической концепции медиа, концепции внешнего активного и эффективного фактора, концепции «перспективной» информации с горизонтом реального и смысла в качестве точки схода.

Однако необходимо понимать ТВ, подобно форме ДНК, как результат, при котором исчезают противоположные полюса детерминации, согласно сокращению, ядерному сжиманию старой полярной схемы, которая всегда поддерживала минимальную дистанцию между причиной и следствием, субъектом и объектом: точную смысловую дистанцию, отступ, различие, самый маленький возможный отступ (СМВО!), неустранимый под страхом ликвидации в алеаторном и неопределенном процессе, чей дискурс не может больше отдавать отчет, так как он сам есть детерминированный порядок.

Именно этот отступ исчезает в процессе генетического кода, в котором неопределенность это не столько недетерминированность случайности молекул, а скорее неопределенность чистого и простого уничтожения *отношения*. В процессе молекулярной заданности, «идущей» от цикла ДНК к «субстанции», которую он «информирует», не происходит больше движения какой-либо реакции, энергии, детерминации, сообщения. «Приказ, сигнал, импульс, сообщение: все это старается сделать для нас вещь понятной, но по аналогии, снова транскрибируя в знаках надписи, вектора, раскодировки измерение, о котором мы ничего не знаем – это даже больше не «измерение», или, может быть, это как раз четвертое измерение (которое определяется, впрочем, в терминах эйнштейновской относительности, поглощением четких полюсов пространства и времени). В действительности, весь этот процесс может трактоваться нами только в негативной форме: более ничто не отделяет один полюс от другого, начальное от конечного, происходит что-то вроде раздавливания одного другим, фантастического столкновения, обрушения двух традиционных полюсов одного в другом: имплозия – поглощение сияющего модуса каузальности, дифференциального модуса детерминации, с присущими ему положительным и отрицательным электрическими зарядами – имплозия⁵¹ смысла. Именно здесь начинается симуляция.

Повсюду, в неважно какой области, политической, биологической, психологической, медиатической, где различие двух полюсов не может больше поддерживаться, мы входим в симуляцию, и таким образом, в

⁵¹ Примеч. переводчика. Имплозия – *implosion*, дословно с французского, взрыв, направленный внутрь. Жан Бодрийяр противопоставляет два термина, («*explosion*» - взрыв, и «*implosion*» - взрыв, направленный внутрь), два однокоренных слова, делая акцент на семантической значимости префиксов. Если слово *explosion* означает обычный взрыв и является физическим термином, то следует уточнить значение понятия *implosion*, занимающего в концепции симулякров место одной из основных категорий, под которым Жан Бодрийяр подразумевает неразличимость и слияние смысловых составляющих оппозиционной пары. С категорией имплозии связана категория «ядерного», в рамки которой философ вкладывает всю совокупность симуляционных процессов, являющихся следствием политики устрашения посредством атомного оружия. «Ядерное» Бодрийяр называет апофеозом симуляции. Оно связано, прежде всего, с «напряженным ожиданием», которое инициирует система устрашения. «Ядерное», по мнению Бодрийяра, является производителем симулякра войны посредством знаков устрашения, исключая реальность самого события ядерной войны, так как взрыв [*explosion*] давно оказался замещен взрывом с обратным направлением [*implosion*].

абсолютную манипуляцию – не пассивность, но *неразличимость активного и пассивного*. ДНК реализует эту алеаторную редукцию на уровне живой субстанции. Телевидение, как в примере с Лоудами, также достигает неопределимый лимит, когда последние, находясь перед ТВ, являются уже не более и не менее активными или пассивными, чем живая субстанция по отношению к своему молекулярному коду. Здесь и там, одна единственная туманность, неразборчивая в своих простых элементах, неразборчивая в своей истине.

Орбитальное и ядерное

Апофеоз симуляции: ядерное. Тем не менее, равновесие ужаса – это всегда только зрелищная сторона системы устрашения, которая проникает *изнутри* во все щели жизни. Ядерное напряженное ожидание только подтверждает *опошленную* систему устрашения, находящуюся в самом центре медиа, жестокости без последствий, царящей повсюду в мире, алеаторного устройства всех выборов, сделанных до нас. Самые незначительные из наших поступков управляются нейтрализованными знаками, безразличными, эквивалентными, знаками с нулевым значением, каковыми являются те, которые управляют «стратегией игр» (но настоящее уравнение в другом месте, и неизвестное – это как раз эта переменная симуляции, которая из самого атомного арсенала производит гиперреальную форму, симулякр, господствующий над нами всеми и сводящий все события «на земле» к тому, чтобы быть только эфемерными сценариями, трансформируя жизнь, оставленную нам на выживание, в ставку без ставки – даже не в торг, в счет смерти: в заранее обесцененный торг).

Наши жизни парализует не прямая угроза атомного разрушения, в лейкемию их превращает устрашение. И это устрашение происходит оттого, что *даже реальное атомное столкновение исключено* – исключено заранее как случайность реального в системе знаков. Все делают вид, что верят в реальность этой угрозы (это понятно со стороны военных, вся серьезность их учения в игре, а также дискурс их «стратегии»), но на самом деле нет стратегических ставок на этом уровне, и вся оригинальность этой ситуации состоит в невозможности деструкции.

Устрашение исключает войну – архаическая жестокость систем в экспансии. Устрашение же – это нейтральная жестокость, импловивная, жестокость метастабильных, или инволюционирующих, систем. Нет больше ни субъекта устрашения, ни противника, ни стратегии – это планетарная структура уничтожения ставок. Атомная война, как и Троянская, не произойдет. Риск атомного распыления служит лишь предлогом, через фальсификацию оружия – но эта фальсификация настолько переходит грани любой задачи, что сама становится симптомом ничтожности – для установления универсальной системы безопасности, блокировки и контроля, чей устрашающий эффект целиком нацелен не на атомное столкновение (последнее никогда и не обсуждалось, за исключением конечно самого начала холодной войны, поскольку тогда еще путали атомный механизм с традиционной войной), а на гораздо более широкую возможность всякого реального события, на возможность всего того, что произвело бы резонанс в генеральной системе и нарушило бы равновесие. Равновесие страха, это страх равновесия.

Устрашение – не стратегия, оно циркулирует и обменивается между ядерными главными действующими лицами точно так же как международные капиталы в орбитальной зоне денежной спекуляции, чьих потоков достаточно, чтобы контролировать все мировые обмены. Так, *валюты деструкции* (которая не соотносится с *реальной* деструкцией, не

более чем плавающие капиталы имеют отношение к реальному производству), циркулирующей на ядерной орбите, достаточно, чтобы контролировать всю жестокость и возможные конфликты земного шара.

То, что замышляется в тени этого механизма, под предлогом «объективной» максимальной угрозы, и благодаря этому ядерному Дамоклову мечу, так это завершение максимальной системы контроля, которая никогда и не существовала. И прогрессивный вывод на орбиту всей планеты посредством этой гипермодели безопасности.

То же самое касается и *мирных* ядерных центральных электростанций. Умиротворение не делает различия между гражданским и военным: повсюду, где разрабатываются необратимые механизмы контроля, повсюду, где понятие безопасности становится всемогущим, повсюду, где *норма* безопасности заменяет старый арсенал законов и жестокости (включая войну), растет система устрашения, а вокруг нее разрастается историческая, социальная и политическая пустыня. Гигантское скручивание заставляет сжиматься все конфликты, все конечные цели, все столкновения в масштабах этого шантажа, который прерывает их все, нейтрализует их, замораживает. Никакое восстание, никакая история не могут больше разворачиваться по своей собственной логике, потому что они подвергаются уничтожению. Больше невозможна никакая стратегия, а эскалада – это только губительная игра, оставленная военным. Политическая ставка мертва, остаются только, тщательно очерченные, симулякры конфликтов и ставок.

«Космическая авантюра» сыграла в точности ту же роль, что и ядерная эскалада. Вот почему она так легко смогла сменить ее в 60-х годах (Кеннеди/Хрущев), или развиваться параллельно на манер «мирного сосуществования». Так как какова последняя функция космической гонки, освоения Луны, запуска спутников? Если не установление универсальной модели гравитации, вывода спутника на орбиту, чей лунный модуль является совершенным эмбрионом: запрограммированный микрокосм, где *ничто не*

может быть предоставлено случаю. Траектория, энергия, счет, психология, физиология, окружающая среда – ничто не может быть предоставлено случайности, это тотальный универсум нормы – Закон здесь больше не существует, теперь операциональная имманентность составляет закон. Универсум, исключенный из любой угрозы смысла, в состоянии асептики и невесомости – само это совершенство ослепляет. Так как восторженность толпы не вызывали даже события высадки на Луне или передвижения человека в открытом космосе (это было бы скорее концом предыдущей мечты), нет, ошеломление происходит от совершенства программирования и технической манипуляции. От имманентного чуда запрограммированного разворачивания событий. Ослепление от максимальной нормы и управления вероятностью. Головокружение модели, которая достигает модель смерти, но без страха или импульса. Так как, если закон, с присущей ему аурой трансгрессии, порядок, со своей аурой насилия, еще захватывали извращенное воображаемое, то сама норма фиксирует, ослепляет, ошеломляет и заставляет скручиваться все воображаемое. Мы не фантазируем больше насчет тщательности какой-либо программы. Одно соблюдение ее правил уже головокружительно. Соблюдение правил мира без слабостей.

Однако это все та же модель программной непогрешимости, максимальной безопасности и утрашения, которая управляет сегодня развитием социального. Именно здесь происходит настоящее ядерное падение: тщательная техническая операция служит моделью для тщательной операции социального. Здесь также *ничто не будет предоставлено случайности*, это, впрочем, и есть социализация, которая началась несколько веков тому назад, но которая отныне вошла в свою ускоренную фазу, подошла к границе, которую считали взрывной (революция), но которая на сегодняшний момент выражается в противоположном процессе, *импловивном*, необратимом: обобщенное утрашение любой случайностью,

любым несчастным случаем, любым пересечением, любой финальностью, любым противоречием, разрыв или усложненность в социальности, облученной нормой, обреченной на сигнальную прозрачность механизмов информации. В действительности, космическая и ядерная модели не имеют собственных целей: ни исследование Луны, ни военное и стратегическое превосходство. Их истина заключается в том, чтобы быть моделями симуляции, векторными моделями системы планетарного контроля (в рамках которого даже звездные силы этого сценария не свободны – весь мир выведен на орбиту)⁵².

Противостоять очевидности: в выведении на орбиту спутника, тот, кто превращен в спутник, это не тот, кому верят. Согласно орбитальной записи о космическом объекте, именно планета Земля становится спутником, именно земной принцип реальности становится эксцентрическим, гиперреальным и незначащим. Согласно орбитальному установлению такой системы контроля, как мирное сосуществование, все земные микросистемы становятся спутниками и теряют свою автономию. Все энергии, все события поглощаются этой эксцентрической гравитацией, все конденсируется и взрывается вовнутрь в направлении единственной микромодели контроля (орбитального спутника), как и наоборот, в другом биологическом измерении, все соединяется и взрывается внутри молекулярной микромодели генетического кода. Между ними двумя, в этом расхождении ядерного и генетического, в одновременном допущении двух фундаментальных кодов устрашения, всякий принцип смысла поглощается, никакое разворачивание реального невозможно.

Одновременность двух событий в июле 1975 проиллюстрировала это превосходным образом: встреча в космосе двух суперспутников, американского и советского, апофеоз мирного сосуществования – отмена китайцами идеограмматического письма и присоединение на

⁵² Парадокс: все бомбы являются чистыми: их единственное загрязнение это система безопасности и контроля, которую они излучают, *поскольку не взрываются*.

неопределенный срок к романскому алфавиту. Последнее означает «орбитальное» установление абстрактной и смоделированной знаковой системы, в орбите которой будут подвергаться резорбции все, когда-то одиночные, формы стиля и письма. Выведение на орбиту языка: это способ китайцев войти в систему мирного сосуществования, которая прописывается в их небе точно в одно и то же время соединением двух спутников. Орбитальный полет двух Великих, нейтрализация и гомогенизация всех остальных на земле.

Тем не менее, несмотря на это устрашение посредством орбитальной инстанции – ядерный код или код молекулярный – , события продолжаются на земле, перипетии становятся даже все более многочисленными, согласно мировому процессу смежности и одновременности информации. Но незаметно они теряют смысл, они есть отныне не более, чем двойной эффект высшей симуляции. Наиболее красивым примером может служить только война во Вьетнаме, поскольку она оказалась на пересечении исторической и максимальной «революционной» ставки и установления этой устрашающей инстанции. Какой смысл был в этой войне, а ее развитие, не должно ли было подтвердить конец истории в историческом кульминационном и решающем событии нашей эпохи?

Почему эта война, такая сложная, такая долгая, такая жесткая, рассеялась в течение нескольких дней, словно по волшебству?

Почему это американское поражение (самая большая неудача в истории США) не имело никакого отголоска внутри самой Америки? Если оно действительно означало крах планетарной стратегии США, то оно должно было также пошатнуть внутреннее равновесие и политическую американскую систему. Ничего этого не произошло.

Но имела место другая вещь. В сущности, эта война была лишь критическим эпизодом в мирном сосуществовании. Вероятно, она отметила приход Китая к мирному сосуществованию. Полученное и

конкретизированное в течение долгих лет не-вторжение Китая, изучение Китаем мирового *modus vivendi*, переход от стратегии мировой революции к стратегии разделения сил и империй, переход от радикальной альтернативы к политическому чередованию в системе, управляемой отныне для главного (нормализации отношений Пекин-Вашингтон): именно это было ставкой войны во Вьетнаме и, в этом смысле, Соединенные Штаты вывели войска из Вьетнама, но они выиграли войну.

И война «спонтанно» закончилась, поскольку цель была достигнута. Вот почему она развязалась, распавшись с такой легкостью.

Сама эта чистка отчетливо видна на территории. Война продолжалась достаточно времени, чтобы не были ликвидированы элементы, не устранимые здоровой политикой и дисциплиной власти, будь то коммунистическая власть. Как только, наконец, война перешла в руки регулярных войск Севера и ускользнула от партизан, война может быть прекращена: она достигла своей цели. Ставка, таким образом – политическая смена. Когда вьетнамцы доказали, что они не являются больше инициаторами непредвиденной подрывной деятельности, им можно протянуть руку. Что бы это ни было, коммунистический порядок не важен, в сущности: он представил свои доказательства, ему можно доверять. Он даже более эффективен, чем капитализм с его ликвидацией до-капиталистических «диких» и архаических структур.

Тот же сценарий и с войной в Алжире.

Другой аспект этой войны и любой войны отныне: позади жестокой армии, убийственный антагонизм противников – который кажется ставкой не на жизнь, а на смерть, который проигрывается как таковой (в противном случае невозможно было бы отправить людей на смерть в этом жанре истории), позади этого симулякра борьбы на смерть и мировой безжалостной ставки, оба противника фундаментально солидарны против другой вещи, без названия, никогда непроизносимой, но чей объективный военный результат,

с равноценным сотрудничеством обоих противников, заключается в тотальной ликвидации: племенные структуры, общинные, до-капиталистические, все формы символических обмена, языка, организации, вот что необходимо уничтожить, вот чье убийство является объектом войны – и война в своем огромном зрелищном механизме смерти только средство этого процесса террористической рационализации социального – убийство, на котором сможет установиться социальность, и неважно ее подчиненность, коммунистическая или капиталистическая. Тотальное сообщничество, или распределение работы между двумя противниками (которые способны даже ради этого согласиться на огромные жертвы) с одной и той же целью маскировки и доместикации общественных отношений.

«Северные вьетнамцы получили совет согласиться на сценарий ликвидации американского присутствия, в ходе которого, разумеется, необходимо сохранить лицо».

Этот сценарий: крайне жесткие бомбардировки над Ханоем. Их невыносимый характер не должен скрывать, что они были лишь симулякр для того, чтобы позволить вьетнамцам сделать вид, будто они согласны на компромисс, а Никсону заставить американцев проглотить отступление их войск. Все было достигнуто, ничто объективно не было по-настоящему в игре, кроме правдоподобия финального монтажа.

Пусть моралисты войны, сторонники высоких военных ценностей не расстраиваются: эта война не менее жестока, хотя лишь симулякр, в ней также страдает плоть, а умершие и старые бойцы в ней стоят с лихвой остальных. Эта цель всегда полностью достигается, так же как и цель разделения территорий на участки и дисциплинарной социальности. Чего больше не существует, так это противостояния противников, реальности антагонистических оснований, идеологической серьезности войны. А также реальности победы или поражения, война, будучи процессом, который торжествует далеко за пределами своей видимости.

В любом случае, миротворчество (или устрашение), захватившее нас сегодня, находится по ту сторону войны и мира, оно есть равенство в любое мгновение мира и войны. «Война – это мир», – говорил Оруэлл. Здесь также, два дифференциальных полюса взрываются один в другом, или возвращают в цикл один другой – одновременность противоречий, которая есть сразу пародия и конец всякой диалектики. Таким образом, можно подойти к правде войны: узнать о том, что она была закончена еще до того, как реально была завершена, что конец войне был положен в самом разгаре войны, и что она, может быть, никогда не начиналась. Многие другие события (нефтяной кризис, и т.д.) *никогда не начинались*, никогда не существовали, не то, что искусственные перипетии – резюме, эрзацы и артефакты истории, катастроф и кризисов, предназначенных для поддержания исторического инвестирования под гипнозом. Все медиа и официальный сценарий информации там только для того, чтобы поддерживать иллюзию хронологии событий, реальности ставок, объективности фактов. Все события нужно читать с изнанки, или вы замечаете (коммунисты «у власти» в Италии, посмертное переоткрытие, ретро, ГУЛАГов и советских диссидентов как таковое, почти современное, при помощи умирающей этнологии, потерянного «отличия» Дикарей), что все вещи доходят слишком поздно, с запоздалой историей, по запоздалой спирали, что они уже давно исчерпали свой смысл и живут только искусственным воскрешением знаков, что все эти события следуют друг за другом без логики, в полной эквивалентности самых противоречивых событий, в глубочайшем безразличии к их последствиям (но это именно то, чего им отныне не хватает: они исчерпываются в своем зрелищном продвижении) – всякий фильм о «новостях» создает, таким образом, мрачное впечатление кича, ретро и порно одновременно – это без сомнения знают все, и никто не принимает это в глубине души. Реальность симуляции невыносима – более жестока, чем Театр жестокости Арто, который был также опытом жизненной драматургии,

последним всплеском идеальности тела, крови, насилия в системе, которая уже уносила его к устранению всех ставок без единого следа крови. Для нас все закончено. Вся драматургия, и даже все реальное письмо жестокости исчезло. Симуляция главенствует, и мы имеем право только на ретро, на призрачную, пародийную реабилитацию всех потерянных референтов. Все они разворачиваются еще вокруг нас, в холодном свете устрашения (включая Арто, который имеет право, как и все остальное на свое оживление, на второе существование в качестве референта жестокости).

Вот почему ядерное распространение это не дополнительный риск взрыва или атомной катастрофы – кроме периода, во время которого «молодые» державы могли бы поддасться искушению дать ему не устрашающий ход, «реальный» (как это сделали американцы в Хиросиме – но именно они единственные имели право на эту «практическую ценность» бомбы, все те, кто получит к этому доступ, будут отныне устрашены воспользоваться подобной возможностью, даже самым фактом обладания ей). Вход в атомный клуб, так красиво названный, очень быстро сводит на нет (также как вступление в профсоюз для рабочих) любую робкую попытку насильственного вторжения. Ответственность, контроль, цензура, самоустрашение возрастают всегда быстрее, чем располагаемые силы или армии: таков секрет социального порядка. Таким образом, сама возможность парализовать целую страну, опустив рычаг, *делает* так, что электротехники никогда не используют это оружие: в этом весь миф тотальной и революционной забастовки, которая рушится в тот момент, как только получены все средства – но, увы, *именно потому*, что средства для этого предоставлены. Именно таков весь процесс устрашения.

Так, совершенно возможно увидеть однажды, как атомные державы экспортируют центральные атомные электростанции, оружие и бомбы во всех направлениях. За контролем посредством угрозы последует гораздо более эффективная стратегия миротворчества при помощи бомбы и

посредством обладания бомбой. «Маленькие» державы, считая, что приобретают собственную автономную ударную силу, купят вирус утрашения, своего собственного утрашения. То же самое относительно центральных атомных станций, которые мы им уже предоставляем: столько нейтроновых бомб, обезвреживающих всю историческую вирулентность, любой риск взрыва. В этом смысле, ядерное устанавливает повсюду ускоренный процесс *имплозии*, оно замораживает все вокруг себя, оно поглощает всю живую энергию.

Ядерное это одновременно кульминационный момент свободной энергии и максимизация систем контроля всей энергии. Блокировка и контроль возрастают в той же мере (и без сомнения еще быстрее), что и освободительные виртуальности. Это было уже апорией современных революций. Еще это абсолютный парадокс ядерного. Энергии замораживаются на своем собственном огне, они сами себя утрашают. Совершенно не видно уже, какой проект, какая власть, какая стратегия, какой субъект мог бы находиться за этой дверью, за этой гигантской пресыщенностью системой своими собственными силами, отныне нейтрализованными, непригодными, невразумительными, невзрывчатыми – если только не возможность *взрыва вовнутрь, имплозии*, где все эти энергии уничтожались бы в катастрофическом процессе (в прямом смысле слова, то есть в смысле возврата всего цикла к минимальной точке, возврата энергий к минимальному пределу).

История: сценарий ретро

В период жестокой и современной истории (скажем, период между двумя войнами и холодная война), кино захватывает миф в качестве воображаемого содержания. Это золотой возраст великих воскрешений, деспотичных и легендарных. Миф, изгнанный из реального жестокостью истории, находит прибежище в кино.

Сегодня сама история захватывает кино по тому же сценарию – историческая ставка, изгнанная из нашей жизни чем-то вроде гигантской нейтрализации, имя которой мирное сосуществование на мировой арене, и умиротворенная монотонность на арене обыденной – эта история, обреченная обществом на медленное и жестокое замораживание, празднует свое воскрешение с новой силой на экранах, согласно тому же процессу, который когда-то там же оживлял утерянные мифы.

История – наш утерянный референт, то есть наш миф. Именно на этом основании она сменяет мифы на экране. Иллюзией было бы радоваться этому «осознанию истории посредством кино», как мы когда-то радовались «вхождению политики в университет». То же недоразумение, та же мистификация. Политика, входящая в университет, это политика, которая выходит из истории, это политика ретро, опустошенная от собственной субстанции и легализованная в своей искусственной деятельности, пространство игры и территория приключений, эта политика как сексуальность или перманентная формация (или как общественная безопасность в свое время): посмертное освобождение.

Великое событие этого периода, великий травматизм составляет эта агония сильных референтов, агония реального и рационального, с которой открывается эра симуляции. В то время как столько поколений, и в

отдельности последнее, жили в такт истории, в перспективе, эйфоричной или катастрофичной, революции – сегодня создается впечатление, что история отступила, оставляя за собой безразличную туманность, пересеченную потоками (?), но опустошенную от своих референций. Именно в этой пустоте стекаются миражи прошедшей истории, набор событий, идеологий, модных тенденций ретро – больше не столько потому, что люди в них верят или растворяют в них еще какую-то надежду, но чтобы просто воскресить время, в котором, по крайней мере, была частица истории, частица насилия (будь оно фашистским), в котором, по крайней мере, была ставка на жизнь или смерть. Все хорошо, чтобы ускользнуть от этой пустоты, от этой лейкемии истории и политики, от этого кровотечения ценностей – именно соразмерно этому бедствию все содержания припоминаются вперемешку, вся предшествующая история воскрешается в беспорядке – ни одна сильная идея отныне не производит отбор, бесконечно накапливается одна лишь ностальгия: война, фашизм, роскошь Прекрасной эпохи и революционная борьба, все эквивалентно и перемешивается без различия в той же мрачной и унылой восторженности, в том же ослеплении ретро. Тем не менее, недавно прошедшая эпоха обладала некоей привилегией (фашизм, война, послевоенное время – бесчисленные фильмы, которые там проигрываются, обладают более близким для нас запахом, более извращенным, более насыщенным, более мутным). Это можно объяснить, вспомнив (наверное, это тоже гипотеза ретро) фрейдовскую теорию фетишизма. Эта травма (потеря референтов) похожа на открытие ребенком различия полов, такая же важная, такая же глубокая, такая же необратимая: фетишизация объекта происходит из желания скрыть это невыносимое открытие, но чтобы быть точным, говорит Фрейд, это не любой объект, это зачастую последний случайно замеченный объект перед травматическим открытием. Таким образом, фетишизированная история большей частью будет историей, непосредственно предшествующей нашей «ирреферентной» эре. Отсюда

содержательность фашизма и войны в ретро – совпадение, сходство совсем не политическое, наивно выводить из фашистского воспоминания актуальное возвращение фашизма (в действительности это потому, что мы уже не в нем, потому что мы уже в чем-то другом, что еще менее смешно, именно поэтому фашизм может снова стать ослепительным в своей отфильтрованной жестокости, эстетизированной посредством ретро⁵³).

История, таким образом, осуществляет свое триумфальное вхождение в кино посмертно (термин «исторический» претерпел ту же судьбу: «исторические» момент, памятник, конгресс, фигура даже названы как ископаемые). Ее повторная инъекция даже обладает ценностью не осознания, а ностальгии по утерянному референту.

Это не означает, что история никогда не появлялась в кино в качестве действующего времени, как актуальный процесс, как восстание, а не как воскрешение. В «реальном», как и в кино, была история, но больше ее нет. История, которая нам возвращена сегодня (именно потому, что она была у нас отнята), имеет не больше общего с «историческим реальным», чем нео-изображение в живописи с классическим изображением реального. Нео-изображение – это *воззвание* к сходству, но, в то же время, очевидное доказательство исчезновения объектов в самой их репрезентации: *гиперреальном*. Предметы сверкают там в каком-то роде гиперсходством (как история в современном кино), благодаря которому они, в сущности, не похожи больше ни на что, если только на пустое изображение сходства, на

⁵³ Сам фашизм, тайна его возникновения и его коллективной энергии, ни одна из интерпретаций которого так и не доведена до конца (ни марксистская с ее политической манипуляцией доминирующими классами, ни рейховская интерпретация с его сексуальным подавлением масс, ни делезовская с деспотичной паранойей), может уже быть интерпретирован как «иррациональная» эскалация мифических и политических референтов, сумасшедшая интенсификация коллективной ценности (кровь, раса, народ и т.д.), вторичная инъекция смерти, «политической эстетики смерти» в тот момент, когда процесс разочарования в ценности, в коллективных ценностях, в рациональной секуляризации и унификации всей жизни, операционализации всей социальной и индивидуальной жизни уже жестко чувствуется на Западе. Еще раз, все благоприятно, чтобы ускользнуть от катастрофы ценности, от этой нейтрализации и умиротворения жизни. Фашизм – это сопротивление всему этому, сопротивление глубокое, иррациональное, безумное, не важно, он не накапливал бы такую массивную энергию, если не был бы сопротивлением чему-то еще худшему. Его жестокость, его ужас соразмерен *этому другому ужасу, которым и является это смешение реального и рационального, усугубившееся на Западе, и оно есть ответ на все это.*

пустую форму репрезентации. Это в каком-то роде вопрос жизни или смерти: эти объекты не являются больше ни живыми, ни мертвыми. Именно поэтому они такие точные, такие тщательные, застывшие, в том состоянии, когда их застигла жестокая потеря реального. Все эти исторические фильмы, но не только: Чайнатаун, Три дня кондора, Барри Линдон, 1900, Люди Президента, и т.д., само совершенство которых смущает. Создается впечатление, что имеешь дело скорее с безупречными римейками, с необычными монтажами, происходящими в большей степени из комбинаторной культуры (или мозаичной в маклюэновском смысле), с огромными фото-, киномашинами, историкосинтезом, и т.д., чем с настоящими фильмами. Договоримся: их качество не под вопросом. Проблема скорее в том, что они нас где-то полностью оставляют безразличными. Возьмите *Последний киносеанс*: необходимо быть, как и мне, немного рассеянным, чтобы увидеть в нем оригинальную продукцию 50-х: очень хороший фильм о нравах и атмосфере в маленьком американском городке, и т.д. Совсем легкое подозрение: он был немного слишком хорош, лучше приведен в соответствие, лучше, чем другие, без психологических, моральных и сентиментальных злоупотреблений того времени. Приходишь в крайнее изумление, когда вдруг узнаешь, что это фильм 70-х годов, превосходное ретро, вымаранный, классный, гиперреалистичное восстановление фильмов 50-х годов. Говорят о том, чтобы снова создавать немые фильмы, лучше, разумеется, фильмов того времени. Восходит целое поколение фильмов, похожих на то кино, из которого мы узнали, что андроид относится к человеку, чудесные артефакты, без единого недостатка, гениальные симулякры, которым недостает лишь воображаемого, и той чистой галлюцинации, которая делает кино. Многие из тех, которые мы видим сегодня (лучшие), уже относятся к этому порядку. Барри Линдон тому лучший пример: никогда не делали ничего лучше, никогда не сделают лучше в ... в чем? В области воспоминания, нет, нет

даже воспоминания, это *симуляция*. Все токсические радиации были отфильтрованы, все ингредиенты там, строго дозированы, никакой ошибки.

Удовольствие невозмутимое, холодное, даже не эстетическое, честно говоря, функциональное удовольствие, удовольствие уравнения, удовольствие махинации. Остается только вспомнить о Висконти (*Леонард, Чувство*, и т.д., которые, в силу разных причин, заставляют подумать о *Барри Линдоне*), чтобы ощутить разницу, не только в стиле, но и также в кинематографическом акте. У Висконти есть смысл, история, чувственная риторика, умершие времена, страстная игра, не только в историческом содержании, но и в постановке. Ничего из этого у Кубрика, который манипулирует своим фильмом как шахматной доской и делает из истории операционный сценарий. И все это не отсылает к старой оппозиции духа изящества и духа геометрии: которая еще зависит от игры и от ставки смысла. В то время как мы входим в эру фильмов, которые не обладают больше собственно смыслом, больших синтезирующих машин с переменной геометрией.

Что-то из этого уже в вестернах Леоне? Может быть. Все показатели схожи в данном смысле. Китайский квартал: это детектив, пересозданный при помощи лазера. В действительности это не вопрос совершенства: техническое совершенство может *быть частью смысла*, и в этом случае, оно не является ни ретро, ни гиперреалистичным, оно есть результат искусства. Здесь, оно есть результат модели: оно является одной из тактических ценностей референции. В отсутствии реального *синтаксиса* смысла, ничего не остается кроме *тактических* ценностей ансамбля, в котором, например, ФБР как мифологическая машина на все руки, Роберт Редфорт как поливалентная звезда, социальные отношения как обязанная истории референция, *обязанная кино техническая виртуозность* сочетаются восхитительно.

Кино и его траектория: от самого фантастического или мифического к реалистичному и гиперреалистичному.

Кино в своих актуальных попытках все более приближается, и все с большим совершенством, к абсолютному реальному, в его банальности, в его правдивости, в его голой очевидности, в его скуке, и в то же время, в его дерзости, в его претензии быть реальным, непосредственным, необозначенным, тем, что является одним из самых безумных предприятий (так, претензия дизайнерского функционализма – дизайн – наивысшая степень объекта в его совпадении с функцией, с его практической ценностью, есть собственно бессмысленное предприятие), никакая культура никогда не обладала таким видением знаков, наивным и параноидальным, пуританским и террористическим.

Терроризм – это всегда терроризм реального.

Одновременно с этой попыткой абсолютного совпадения с реальным, кино также приближается к абсолютному совпадению с самим собой – и это не противоречиво: это даже определение гиперреального. Яркая риторическая фигура и зеркальность. Кино совершает плагиат самого себя, копирует себя, снова создает собственную классику, ретроактивирует свои первоначальные мифы, переделывает немое кино более совершенно, чем само немое кино, и т.д.: все это логично, *кино ослеплено самим собой как потерянным объектом, также как оно (и мы) ослеплены реальным как ускользающим референтом*. Кино и воображаемое (романтическое, мифическое, гиперреальность, включая бредовое использование своей собственной техники) обладали некогда отношением живым, диалектичным, полным, драматичным. Отношение, которое завязывается сегодня между кино и реальным, это обратное отношение, негативное: оно происходит из потери специфики одного и другого. Любовная связь без страсти, прохладная теснота, бесполоя помолвка двух холодных медиа, движущихся по асимптотической линии один к другому: кино, пытающееся уничтожить себя

в абсолютном реальном, а реальное уже давно поглощено кинематографическим гиперреальным (или телевизионным).

История являлась сильным мифом, может быть последним великим мифом, связанным с бессознательным. Это миф, который соединял сразу возможность «объективного» связывания событий и причин и возможность нарративного связывания дискурса. Возраст истории, если так можно выразиться, это также возраст романского языка. Именно этот *фантастический* характер, *мифическая* энергия события или рассказа, кажется, утрачивается всегда больше всего. За этой эффективной и демонстративной логикой: навязчивая идея исторической верности, совершенной точности передачи (как за его пределами точная передача реального времени или подробной обыденности Жанны Хильман, моющей посуду), эта негативная и ожесточенная верность материальности прошлого, такой-то сцены прошлого или настоящего, восстановлению абсолютного симулякра прошлого или настоящего, и которая подменила любую другую ценность – мы все сообщники, и это необратимо. Так как кино само способствовало исчезновению истории, и приходу архива. Фотография и кино широко способствовали секуляризации истории, и ее фиксации в видимой, «объективной» форме, в ущерб мифам, которые ее наполняли.

Оно может сегодня отдать весь свой талант, всю свою технику на службу реанимации того, чьей ликвидации оно само способствовало. Оно воскрешает лишь призраки, и само теряется среди них.

Холокост

Забвение истребления является частью истребления, поскольку это также истребление памяти, истории, социального, и т.д. Подобное забвение настолько же важно, как и само событие, в любом случае, ненаходимое для нас, недоступное в своей правде. Это забвение еще и слишком опасно, его необходимо стереть искусственной памятью (сегодня повсюду искусственная память, стирающая память людей, и стирающая людей из их собственной памяти). Эта искусственная память будет повторной мизансценой истребления – но поздно, слишком поздно, чтобы она смогла стать настоящей волной и глубоко поколебать что-то, и в особенности, в особенности посредством медиума, который холоден сам, и излучает забвение, устрашение и истребление способом еще более систематическим, чем это возможно, чем сами лагеря. Телевидение. Настоящее финальное решение для историчности любого события. Евреев снова заставляют пройти, но не через крематорий или газовую камеру, а через звуковую ленту и видеоленту, через катодный экран и микропроцессор. Забвение, уничтожение достигает, наконец, здесь своего эстетического масштаба – оно завершается в ретро, в котором, наконец, доведено до размеров массы.

Вид социального исторического масштаба, который оставался еще в забвении под видом виновности, стыдливой латентности, невысказанности, даже не существует больше, поскольку отныне «все знают», все дрожали и ревели от этого истребления – верный знак того, что «это» никогда больше не произойдет. Но то, что изгоняется таким образом с небольшими затратами и ценой нескольких слезинок, в действительности никогда больше не произойдет, потому что оно уже давно в процессе воспроизведения, и точнее, в той самой форме, в которой его хотят якобы уничтожить, в самом медиуме

этого мнимого экзорцизма: телевидении. Тот же процесс забвения, ликвидации, истребления, то же уничтожение памяти и истории, то же обратное излучение, имплозивное, то же поглощение без эхо, та же черная дыра, что и Аушвиц. А нас еще хотели заставить поверить в то, что ТВ устранил помеху Аушвица, осветив коллективное осознание, в то время как оно есть его увековечивание в других формах, под покровительством на этот раз не *места* уничтожения, а *средства* (медиума) устрашения.

То, чего никто не хочет понимать, это то, что *Холокост* является, *прежде всего*, (и исключительно) событием, или скорее *телевизионным* объектом (фундаментальное правило Маклюэна, о котором не нужно забывать), то есть то, что делается попытка разогреть *холодное* историческое событие, трагическое, но холодное, первое великое событие холодных систем, систем охлаждения, устрашения и истребления, которые развернутся потом в других формах (включая холодную войну, и т.д.) и касаясь холодных масс (евреи даже больше затронуты собственной смертью, и самоуправлением, предположительно, массы даже в большей степени восставшие: уstraшенные до смерти, уstraшенные самой смертью), разогреть это холодное событие при помощи холодного медиума, телевидения, и для масс, холодных самих, которые при этом испытают лишь осязаемый озноб и посмертные эмоции, озноб также уstraшающий, который заставит их опрокинуться в забвение с чем-то вроде эстетического осознания катастрофы.

Чтобы разогреть все это, оказалась не лишней вся эта политическая и педагогическая оркестровка, исходившая отовсюду, чтобы попытаться придать смысл этому событию (телевизионному событию на этот раз). Панический шантаж вокруг возможных последствий этой передачи в воображении детей и остальных. Все педагоги и социальные работники мобилизованы для того, чтобы отфильтровывать это событие, как если бы существовала какая-то опасность ядовитости в этом искусственном

воскрешении! Опасность была скорее в обратном: от холодного к холодному, социальная инерция холодных систем, от ТВ в особенности. Итак, было необходимо, чтобы все мобилизовались для того, чтобы снова сделать социальное, горячее социальное, горячее обсуждение, следовательно коммуникацию, из холодного монстра истребления. Не хватает ставок, инвестиций, истории, слова. В этом кроется фундаментальная проблема. Основная цель, таким образом, заключается в том, чтобы их произвести любой ценой, и эта передача была хороша для этого: добиться искусственного жара умершего события, чтобы разогреть мертвое тело социального. Отсюда добавление еще дополнительного медиума, в целях раздувания эффекта при помощи обратной связи: немедленные опросы, утверждающие массовый эффект передачи, коллективное попадание в цель сообщения – в то время как эти опросы проверяют, разумеется, только телевизиальный эффект самого медиума. Но эта неясность никогда не должна быть раскрыта.

В этой связи нужно было бы говорить о холодном свете телевидения, почему он безобиден для воображения (включая воображение детей), по той причине, что он не передает больше никакого воображаемого, и все это по одной простой причине, что *это больше не образ*. Противоположность кино, которое одарено еще (но все менее и менее, потому что все больше и больше заражается телевидением) интенсивным воображаемым – потому что кино – это образ. Это значит, что не только экран и визуальная форма, но миф, нечто, что еще содержит двойственность, фантазию, зеркало, мечту, и т.д. Ничего из этого в образе «телевидения», который ни к чему не побуждает, который притягивает как магнит, который есть не что иное, как экран, даже нет: уменьшенный терминал, который в действительности находится прямо в вашей голове – вы сами есть экран, и телевизор вас смотрит – передает все нейроны вашей головы и проходит словно магнитная лента – лента, не образ.

China Syndrom

Фундаментальная ставка находится на уровне телевидения и информации. Все, так же как истребление евреев исчезало за телевизионным событием *Холокоста* – холодный медиум телевидения просто заменил собой холодную систему истребления, которую так хотели изгнать посредством него – так, *Китайский Синдром* является красивым примером превосходства телевизионного события, над событием ядерным, которое само остается невероятным и, в некотором роде, воображаемым.

Фильм, впрочем, это показывает (не желая того): происходит так, что телевидение оказывается в точности там, где все разворачивается, и это не совпадение, это вторжение ТВ на центральную станцию заставляет как бы возникнуть ядерное происшествие – потому что оно в некотором роде есть его антиципация и модель в повседневном мире: телерасслоение реального и реального мира – потому что ТВ и информация, в общем, являются формой катастрофы в формальном смысле и топологическом Рене Тома: радикальное качественное изменение целой системы. Или скорее ТВ и ядерное принадлежат одной природе: за «горячими» и негэнтропийными понятиями энергии и информации, кроется их обладание такой же силой устрашения, которая характерна для холодных систем. ТВ это тот же ядерный процесс цепной реакции, но имплозивный: оно охлаждает и нейтрализует смысл и энергию событий. Так, ядерное, за допускаемым риском взрыва, то есть горячей катастрофы, скрывает долгую холодную катастрофу, универсализацию системы устрашения.

Еще раз в конце фильма драму провоцирует второе массивное вторжение прессы и ТВ, убийство технического директора специальными бригадами, драму, заменившую ядерную катастрофу, которой не будет.

Сходство ядерного и телевидения читается явственно в образах: ничто не обладает таким сходством с сердцем контроля и телеуправления центральной станции, как студии ТВ, а ядерные консоли смешиваются в одном воображаемом с консолями студий записи и вещания. Однако все происходит между этими двумя полюсами: другое «сердце», сердце реактора, в принципе, настоящее сердце этого предприятия, мы ничего о нем не узнаем, оно как и реальное, зарыто и не читаемо, и в сущности не значимо в фильме (когда нам пытаются его подать, в его неминуемой катастрофе, это больше не действует в плане воображаемого: драма разыгрывается на экранах, и нигде больше).

*Харрисбург*⁵⁴, *Уотергейт* и *Телесеть*: такова трилогия *Китайского Синдрома* – запутанная трилогия, в которой больше не понятно, какой из них есть результат или симптом другого: идеологический аргумент (эффект Уотергейт) не есть ли только симптом ядерного (эффект Харрисбург) или информационной модели (эффект Телесеть) – реальное (Харрисбург) не есть ли только симптом воображаемого (Телесеть и Китайский Синдром) или наоборот? Чудесная неразличимость, идеальное созвездие симуляции. Чудесное название поэтому *China Syndrom*, поскольку обратимость симптомов и их совпадение в одном и том же процессе очень точно составляют то, что мы называем синдромом – то, что он китайский, добавляет ему еще и поэтический и ментальный вкус головоломки и мучения.

Навязчивое соединение *Китайского синдрома* и Харрисбурга. Но все это так ли уж произвольно? Не вычисляя магических связей между симулякром и реальным, ясно, что Синдром не чужд «реальной» аварии в Харрисбурге, не по логике причин и следствий, но исходя из отношений заражения и молчаливой аналогии, которые связывают реальное с моделями

⁵⁴ Инцидент на центральной атомной станции Три-Майл Айленд, который незамедлительно последовал за выходом фильма.

и симулякрами: на *индукцию* ядерного, произведенную ТВ в фильме, отвечает, с трепетной очевидностью, *индукция*, произведенная фильмом о ядерном инциденте в Харрисбурге. Странная прецессия фильма реальному, самая удивительная из тех, на которых нам выпадало присутствовать: реальное ответило точь-в-точь на симулякр, включая подвешенный, незаконченный характер катастрофы, то, что наиболее важно с точки зрения устрашения: реальное подстроилось под образ фильма, чтобы произвести *симуляцию* катастрофы.

Исходя из этого следует перевернуть всю нашу логику и увидеть в *China Syndrom* настоящее событие, а в Харрисбурге его симулякр, всего лишь один шаг необходимо сделать с легким сердцем. Так как согласно все той же логике, ядерная реальность в фильме происходит из эффекта телевидения, а Харрисбург происходит в «реальности» из эффекта кино *China Syndrom*.

Но последний также не является оригинальным прототипом Харрисбурга, ни один из них не является симулякром, реальностью которого послужил бы другой: есть только симулякры, а Харрисбург – что-то вроде симуляции второй степени. Где-то существует реакция в цепи, и мы, может быть, от нее погибнем, но *эта реакция в цепи ни в коем случае не является реакцией ядерного, она есть реакция симулякров и симуляции*, где на самом деле поглощается вся энергия реального, более не в зрелищном ядерном взрыве, но в скрытой и продолжительной имплозии, и которая сегодня набирает намного более смертельный оборот, чем все взрывы, которыми нас убаюкивают.

Поскольку взрыв – это всегда обещание, он *есть* наша надежда: посмотрите насколько, в фильме так же как в Харрисбурге, все ждут, когда оно взлетит, когда же деструкция заявит о себе и избавит нас от этой чудовищной паники, от этой паники устрашения, которую он производит в невидимой форме ядерного. Чтобы «сердце» реактора раскрыло, наконец, свою горячую мощь разрушения, чтобы оно убелило нас в присутствии, будь

оно катастрофичным, [«сердцем»] энергии, и наградило нас своим *спектаклем*. Так как несчастье именно в том, что нет никакого спектакля ядерного, ядерной энергии в самой себе (Хиросима, с этим покончено), и именно по этой причине она отвергнута – она была бы благополучно принята, если бы была годна на спектакль, так же как предшествующие формы энергии. Катастрофическое второе пришествие Христа: субстанциональный продукт нашего мессианического либидо.

Но именно это никогда не произойдет. То, что произойдет, никогда не будет взрывом, но будет имплозией. Больше никакой энергии в ее зрелищной и патетической форме – всего романтизма взрыва, который обладал таким шармом, будучи в то же время революционным – но отныне холодная энергия симулякра и ее дистилляция в гомеопатических дозах в холодных системах информации.

О чем другом мечтают медиа, кроме как вызвать событие одним своим присутствием? Все о нем сожалеют, но каждый ослеплен в тайне такой вероятностью. Такова логика симулякров, это больше не божественное предопределение, это прецессия моделей, но она также полностью неумолима. И именно по этой причине события больше не обладают смыслом: это не значит, что они больше не значительны в самих себе, это говорит о том, что им предшествовала модель, с которой их процесс лишь совпадает. Таким образом, было бы чудесно, если бы сценарий *China Syndrom* повторился в Фессенгейме, во время визита представителей EDF⁵⁵, подаренного журналистам, чтобы по этому случаю снова произошел несчастный случай, связанный с магическим оком, провокационным присутствием медиа. Увы! Ничего не произошло. И впрочем, настолько! так мощна логика симулякров: неделю спустя, профсоюзы уже обнаруживали

⁵⁵ Примеч. переводчика. EDF - Électricité de France, «Электрисите де Франс», крупнейшая электрическая компания Франции управляет 59 АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.

неполадки на центральных станциях. Чудо заразительности, чудо аналогичных реакций в цепи!

Главное в фильме это совершенно не эффект Уотергейт в лице Джейн Фонды, вовсе не ТВ, вскрывающее пороки ядерного, но наоборот, ТВ как орбита близнец и цепная реакция близнец подобной реакции ядерного. Впрочем, все в конце – и тогда фильм безжалостен к своему собственному аргументу – когда Джейн Фонда заставляет разразиться правду напрямик (максимальный эффект Уотергейт), его образ оказывается противопоставленным тому образу, который неизменно преследует и стирает его на экране: какой-то рекламный ролик. Эффект Телесеть относит его далеко к эффекту Уотергейта и загадочно исчезает в эффекте Харрисбурга, то есть не в ядерной гибели, а в *симуляции* ядерной катастрофы.

Однако, действительна именно симуляция, никогда реальное. Симуляция ядерной катастрофы это стратегическая пружина этого родового и универсального предприятия устрашения: дрессировать народы на идеологии и дисциплине абсолютной безопасности – дрессировать их на метафизике расщепления и трещины. Для этого необходимо, чтобы трещина была фикцией. Реальная катастрофа замедлила бы процесс, она составила бы ретроградный инцидент, взрывного типа (ничего не меняя в ходе вещей: ощутимо ли задержала, рассеяла ли универсальный процесс устрашения Хиросима?).

В фильме также реальное слияние было бы плохим аргументом: он снова упал бы на уровень фильма-катастрофы – слабого по определению, поскольку отсылал бы вещи к их чистому событию. А вот *China Syndrom* обретает свою силу в фильтровании катастрофы, в дистилляции ядерной мании через вездесущие электромагнитные реле информации. Он учит нас (еще раз, сам того не желая) тому, что *ядерной катастрофы нет, она не создана для того, чтобы быть*, и в реальном не более того, не более, чем

атомный конфликт на заре холодной войны. Равновесие ужаса зиждется на вечной неизвестности атомного конфликта. Атом и ядерное созданы для того, чтобы рассеяться в целях устрашения, необходимо, чтобы мощь катастрофы, вместо глупого взрыва, рассеялась в гомеопатических, молекулярных дозах, в непрерывных потоках информации. В этом настоящее заражение: никогда биологическое и радиоактивное, но ментальная деструктурация посредством ментальной стратегии катастрофы.

Если внимательно приглядеться, фильм нас к этому подводит, а далее, он даже преподает нам урок диаметрально противоположный уроку Уотергейта: если сегодняшняя стратегия ментального ужаса и устрашения связана с неизвестностью и вечной симуляцией катастрофы, то единственным способом улучшить этот сценарий было бы *приблизить* катастрофу, произвести или воспроизвести *реальную* катастрофу. Это то, к чему прибегает Природа время от времени: в определенные вдохновенные моменты, именно Бог своими катаклизмами развязывает равновесие ужаса, в которое заключены человеческие существа. Ближе к нам, это то, к чему также прибегает терроризм: спровоцировать *реальное* насилие, осязаемое, в отличие от невидимого насилия системы безопасности. Именно в этом, впрочем, кроется ее двусмысленность.

Apocalypse Now

Коппола делает свой фильм так же, как американцы сделали войну – в этом смысле, это лучшее из возможных свидетельств – с тем же отсутствием чувства меры, тем же излишеством средств, такой же чудовищной искренностью... и тем же успехом. Война как кайф, как технологическая и психоделическая фантазия, война как последовательность спецэффектов, война, ставшая фильмом задолго до того, как была снята. Война уничтожается в технологическом испытании, а для американцев она, прежде всего, им и была: испытательным полигоном, гигантским пространством, в котором можно тестировать свое оружие, методы, собственную мощь.

Коппола не делает ничего иного: проверить *мощь интервенции кино*, протестировать точность попадания в цель кино, ставшего безмерным механизмом спецэффектов. В этом смысле, его фильм является, тем не менее, продлением войны другими способами, завершением этой незавершенной войны, и ее апофеозом. Война стала фильмом, фильм становится войной, и то и другое соединяются в их общем излиянии в технике.

Настоящая война сделана Копполой так же, как Уэстморлендом⁵⁶: не считая гениальной иронии полных напалма лесов и филиппинских деревень, дабы воссоздать ад юга Вьетнама: все возвращается и воссоздается посредством кино: зловещая радость съемки, жертвенная радость от такого количества истраченных миллиардов, от такого холокоста средств, от стольких перипетий, и оглушительная паранойя, которая с самого начала обозначила этот фильм как *мировое*, историческое событие, в котором, в уме

⁵⁶ Примеч. переводчика. Уэстморленд, Уильям Чайлдз (26 марта 1914 — 18 июля 2005) — американский военачальник, в разное время занимавший посты главнокомандующего американскими войсками во Вьетнаме и начальника штаба армии США.

создателя, война во Вьетнаме, возможно, была только тем, чем она является, скорее всего, в сущности ее никогда и не было – и он заставляет нас в это поверить: война во Вьетнаме «как таковая» может быть в действительности никогда и не имела место, это мечта, барочная мечта о нападке и тропиках, психотропный сон, целью которого являлась не ставка победы или политики, но жертвенное, безграничное разворачивание мощи, самой по себе уже являющейся объектом съемок в процессе собственного раскрытия, не ожидающий может быть ничего другого, кроме признания суперфильма, который довершает эффект массового спектакля этой войны.

Никакой реальной дистанции, никакого критичного смысла, никакого желания «осознания» по отношению к войне: и некоторым образом в этом и есть жесткое достоинство фильма: не быть подвергнутым гниению моральной психологией войны. Коппола может легко вырядить своего капитана вертолета в головной убор легкой кавалерии и заставить его раздавить вьетнамскую деревню под музыку Вагнера – но не в этом критические, отдаленные знаки, все погружено в механизм, оно является частью спецэффекта, который, в свою очередь, является частью кино тем же самым образом, с той же манией величия ретро, с той же незначительной яростью, тем же приумноженным эффектом петрушки. Но вот, он наносит так нам удар, что приводит в смятение, и можно спросить себя: как возможен подобный ужас (не ужас войны, ужас фильма, честно говоря)? Но ответа нет, нет возможного суждения и можно даже ликовать от этой чудовищной вещи (точно так же как и по поводу Вагнера) – но возможно все-таки уловить совсем маленькую идею, не злобную, не ценностное суждение, но которая говорит вам, что война во Вьетнаме и этот фильм выточены из одного и того же материала, что ничто их не разделяет, что этот фильм является частью войны – если американцы проиграли одно (видимое), то они уверенно выиграли другое. *Апокалипсис Сегодня* это мировая победа. Кинематографическая мощь равна и превосходит мощь индустриальных и

военных машин, она равна или превосходит мощь Пентагона и правительства.

И все-таки фильм небезынтересен: он ретроспективно освещает (даже не ретроспективно, поскольку фильм является фазой этой войны без развязки) то, что уже было в этой войне опьяняющего, неразумного в политических терминах: американцы и вьетнамцы уже совершили перемирие, сразу же после завершения военных действий американцы оказывали свою экономическую помощь, точно так же как они уничтожили джунгли и города, точно так же как они делают свой фильм сегодня. Вы ничего не поняли, ни в войне, ни в кино (в последнем еще меньше), если не почувствовали эту неразличимость, которая не является больше идеологической или моральной, добра и зла, но неразличимость обратимости разрушения и производства, имманентности вещи в самой ее революции, органического метаболизма всех технологий, ленточного конвейера бомб на киноплёнке...

Эффект Бобура

Имплозия и устрашение

Эффект Бобура⁵⁷, машина Бобур, *вещь* Бобур – какое название ему дать? Загадочный каркас с потоками и знаками, сплетениями и круговыми движениями – последнее поползновение выразить структуру, которая больше не имеет имени, структуру социальных отношений, предоставленных искусственному распределению (анимация, самоуправление, информация, медиа) и необратимой в сущности имплозии⁵⁸. Памятник играм массовой симуляции, Центр⁵⁹, функционирующий как мусоросжигатель, абсорбирующий всю культурную энергию и пожирающий ее – немного похоже на черный монолит 2001⁶⁰: бессмысленная конвекция всех содержаний, проникших туда для того, чтобы материализоваться, поглотиться и уничтожиться.

А вокруг него квартал, не более чем видимость – штукатурный намет, дезинфекция, снобистский и гигиенический дизайн – но особенно в ментальном отношении: это машина для изготовления пустоты. Как и центральные атомные станции: их истинная опасность заключается не в

⁵⁷ Примеч. переводчика. Бобур (фр. *Beaubourg*), или Центр Жоржа Помпиду, парижский музей современного искусства.

⁵⁸ Примеч. переводчика. Имплозия – *implosion*, дословно с французского, взрыв, направленный внутрь. Жан Бодрийяр противопоставляет два термина, («*explosion*» - взрыв, и «*implosion*» - взрыв, направленный внутрь), два однокоренных слова, делая акцент на семантической значимости префиксов. Если слово *explosion* означает обычный взрыв и является физическим термином, то следует уточнить значение понятия *implosion*, занимающего в концепции симулякров место одной из основных категорий, под которым Жан Бодрийяр подразумевает неразличимость и слияние смысловых составляющих оппозиционной пары. С категорией имплозии связана категория «ядерного», в рамки которой философ вкладывает всю совокупность симуляционных процессов, являющихся следствием политики устрашения посредством атомного оружия. «Ядерное» Бодрийяр называет апофеозом симуляции. Оно связано, прежде всего, с «напряженным ожиданием», которое инициирует система устрашения. «Ядерное», по мнению Бодрийяра, является производителем симулякра войны посредством знаков устрашения, исключая реальность самого события ядерной войны, так как взрыв [*explosion*] давно оказался замещен взрывом с обратным направлением [*implosion*].

⁵⁹ Примеч. переводчика. Здесь и далее, Центр (Центр Жоржа Помпиду) – синоним Бобура.

⁶⁰ Примеч. переводчика. Речь идет о фильме С. Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (1968г.).

небезопасности, ни в загрязнении, ни во взрыве, но в максимальной системе безопасности, лучезарно ими источаемой, в видимости контроля и устрашения, которая постепенно распространяется на всю территорию, в технической, экологической, экономической, геополитической видимости. Не так уж важно само ядерное: центральная атомная станция это матрица, разрабатывающая модель *абсолютной* безопасности, которая станет универсальной для всего социального поля, и которая, в сущности, есть не что иное как модель устрашения (та же модель управляет нами по всему миру под знаком мирного сосуществования и симуляции атомной угрозы).

Та же модель, со всеми выдержанными пропорциями, разрабатывается в Центре: культурное расслоение, политическое устрашение.

Это говорит о том, что циркуляция флюидов неравномерна. Вентиляция, охлаждение, электрическая сеть – «традиционные» флюиды циркулируют там прекрасно. А вот циркуляция человеческого потока уже менее прочна (архаичное решение эскалаторов в пластиковых полых цилиндрах – вероятно, мы должны быть вдыхаемы, движимы, как знать, но подвижность образа этой барочной театральности флюидов составляет оригинальность каркаса). Что касается материала произведений, объектов, книг, и внутреннего так называемого «поливалентного» пространства, то оно вообще не циркулирует. Чем больше вы углубляетесь внутрь, тем менее оно подвижно. Такова оборотная сторона Руасси⁶¹, в котором из футуристского центра «космического» дизайна, отсылающего к «сателлитам», и т.д., вы совершенно банально приходите в итоге к... традиционным самолетам. Но несоответствие все то же. (А что же происходит с деньгами, с этим иным флюидом, каков способ их циркуляции, эмульсии, падения в Бобуре?)

То же противоречие даже в поведении персонала, обреченного на «поливалентное» пространство и лишено личного рабочего пространства. Стоя и в движении, люди принимают вид cool⁶², более гибкий, в высшей

⁶¹ Примеч. переводчика. Roissy – название парижского аэропорта.

⁶² Примеч. переводчика. Cool, разг. – бесстрастный, невозмутимый.

степени design⁶³, адаптированный под «структуру» «современного» пространства. Сидя в своем углу, который собственно таковым не является, они тратят последние силы на выделение искусственного одиночества и на то, чтобы снова надуть свой «мыльный пузырь». Все та же красивая тактика устрашения: их приговаривают использовать всю свою энергию в процессе этой индивидуальной обороны. Любопытно, таким образом, мы находим здесь то же противоречие, что и в случае с Бобуром: мобильный экстерьер, сообщающийся, cool и современный – интерьер, уцепившийся за старые ценности.

Это пространство устрашения, построенное на идеологии видимости, прозрачности, поливалентности, консенсуса и контакта, и санкционированное шантажом в целях безопасности, сегодня, виртуально, является пространством всех социальных отношений. Весь социальный дискурс находится здесь, и в этом плане, так же как и в плане заботы о культуре, Бобур, находящийся в полном противоречии с собственными внешними целями, есть не что иное, как гениальный памятник нашей современности. Приятно думать, что эта идея пришла не в какой-нибудь революционный разум, а на ум логиков установленного порядка, лишенных всяческого критичного духа, и, таким образом, более приближенных к истине, способных, в своем упорстве, поставить на место машину, в сущности неконтролируемую, ускользающую от них в результате собственного успеха, машину, которая, даже в мельчайших своих противоречиях, является самым точным отражением актуального состояния вещей.

Разумеется, все культурные содержания Бобура анахроничны, поскольку подобной архитектурной оболочке могла бы единственно соответствовать внутренняя пустота. Создается общее впечатление, что все

⁶³Примеч. переводчика. Design - современной функциональной формы, красивой современной формы.

здесь прежде пребывало в состоянии комы, что все здесь претендует на оживление, и является всего лишь реанимацией, и все это потому, что культура мертва; то, что Бобур воссоздает, прекрасно, но достаточно стыдливо, тогда как нужно было бы торжественно принять эту смерть и воздвигнуть памятник или анти-памятник, эквивалентный фаллической бессодержательности Эйфелевой башни в свое время. Памятник с присущими ему тотальной деконнекцией, гиперреальностью и имплозией культуры – возведенной для нас сегодня в эффект трансисторичных потоков, постоянно отслеживаемых гигантским коротким замыканием.

Бобур это уже в некотором роде компрессия а ля Сэзар⁶⁴ – фигура культуры, уже раздавленной под собственным весом – как движущиеся автомобили, внезапно замороженные в виде геометрических тел. Таковы колымаги Сэзара, избежавшие идеальной аварии, уже больше не внешней, а внутренней по отношению к металлической и механической структуре, и которая превратила бы их в кубические кучи железа, чей хаос из труб, рычагов, кузовов, металла и человеческой плоти внутри выточен под геометрический размер наименьшего насколько возможно пространства – так и культура Бобура, раздроблена, искривлена, разрезана и сжата в своих мельчайших простых элементах – пучок трансмиссий и умерший метаболизм, замороженный как научно-фантастический механоид.

Но вместо того, чтобы ломать и сжимать целую культуру в этом каркасе, подобному все-таки компрессии, вместо этого, там *выставляют* Сэзара. Там *выставляют* Дюбюффе⁶⁵ и контр-культуру, чья обратная симуляция служит референтом для умершей культуры. В этом каркасе, который мог бы служить мавзолеем для бесполезной операциональности

⁶⁴ Примеч. переводчика. Бальдаччини Сэзар (1921-1998) – французский скульптор, один из основателей «нового реализма», представитель концептуального искусства, автор метода «компрессий», сдавливания металлолома мощным гидравлическим прессом, применявшимся для утилизации старых машин. Позднее, стремясь к цветовому и фактурному разнообразию, Сэзар перешел к прессовке других материалов – пластика, картонных коробок, упаковочных ящиков, джутовых мешков, синтетических волокон.

⁶⁵ Примеч. переводчика. Жан Дюбюффе (1901-1985) – французский живописец, сторонник примитивного, грубого искусства “brut”, основоположник искусства «Ар брют», принципиально заимствующего приемы из любительской живописи детей, душевнобольных и т.д., нарушающего общепринятые эстетические нормы.

знаков, снова выставляют эфемерные и саморазрушительные машины Тэнгли⁶⁶ под знаком вечности культуры. Таким образом, нейтрализуется весь ансамбль: Тэнгли забальзамирован в музейном пространстве, Бобур отброшен к своим мнимым артистическим содержаниям.

К счастью, весь этот симулякр культурных ценностей заранее уничтожается внешней архитектурой⁶⁷. Поскольку последняя, со своими потоками труб и видом выставочного здания или универсальной ярмарки, со своей хрупкостью (просчитанной?), устрашающей всякую ментальность или традиционную монументальность, открыто провозглашает, что наше время никогда уже больше не будет временем длительности, что наша единственная темпоральность это темпоральность ускоренного цикла и повторной цикличности, темпоральность кругового потока и транзита флюидов. Наша единственная культура в сущности это культура углеводов, культура рафинирования, крекинга, дробления культурных молекул и их повторного комбинирования в продукты синтеза. Все это Бобур-Музей желает скрыть, но Бобур-Каркас провозглашает. И это именно то, что составляет, в сущности, красоту каркаса, и крах внутренних пространств. В любом случае, сама идеология «культурного производства» является антитезой для любой культуры, так же как культура видимости и поливалентного пространства: культура это место тайны, соблазна, инициации, символического обмена, ограниченного и возведенного в высокий ритуал. Ничто здесь нельзя изменить. Тем хуже для масс, тем хуже для Бобура.

⁶⁶ Примеч. переводчика. Жан Тэнгли (1925-1991) – швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства, или «нового реализма», вдохновленного дадаизмом. Ж. Тэнгли завоевал известность своими "рисующими", "саморазрушающимися" и прочими фантастическими машинами-монстрами, составленными из всякого хлама и пародирующими современную техническую цивилизацию в духе деконструктивизма.

⁶⁷ Еще одна вещь уничтожает культурный проект Бобура: сама хлыщущая, дабы всем этим насладиться, масса (мы вернемся к этому позже).

Что же необходимо было вложить в Бобур?

Ничего. Пустоту, которая означала бы исчезновение всякой культуры смысла и эстетического чувства. Но все это еще слишком романтично и мучительно, эта пустота еще была бы оценена как шедевр антикультуры.

Может быть, кружение стробо- и гироскопических огней, рассекающих пространство, в котором толпа служила бы движущим базовым элементом?

В действительности, Бобур иллюстрирует лишь тот факт, что один порядок симулякров поддерживается только алиби предшествующего порядка. Здесь, каркас, состоящий весь из потоков и поверхностных соединений, приписывает себе в качестве содержания традиционную культуру глубины. Предшествующий порядок симулякров (порядок смысла) наполняет пустую субстанцию последующего порядка, которому больше не знакомо различие между означающим и означаемым, содержащим и содержанием.

Вопрос: «Что необходимо было вложить в Бобур?», таким образом, абсурден. На него не может существовать ответа, поскольку уместное различие внутреннего и внешнего не может быть больше обозначено. Это наша истина, истина Мебиуса – неосуществимая утопия без сомнения, но которой Бобур придает, по крайней мере, смысл, в той мере, в какой любое из его содержимых является бессмыслицей, и заранее уничтожается содержащим.

Тем не менее – тем не менее... если бы и должно было быть что-то в Бобуре – это должен был быть лабиринт, бесконечная комбинаторная библиотека, случайное перераспределение судеб игрой или лотереей – короче говоря универсум Борхеса – или еще круговые Руины⁶⁸: приумноженное соединение индивидуумов, видящих друг друга во сне (не Диснейленд мечты, практическая лаборатория вымысла).

⁶⁸ Примеч. переводчика. Речь идет о рассказе Х.Л. Борхеса «Круги руин» (Или «В кругу развалин»).

Экспериментирование над различными процессами репрезентации: дифракция, имплозия, редукция, алеаторные соединения и разъединения – напоминает исследовательский центр в Сан-Франциско или романы Филипа Дика – одним словом, культура симуляции и ослепления и уже не культура производства и смысла: вот, что можно было предложить, и что не было бы жалкой антикультурой. Возможно ли это? Не здесь очевидно. Но такая культура создается где-то еще, повсюду, нигде. С сегодняшнего дня, единственная настоящая культурная практика, практика масс, наша практика (никакого больше различия), это практика манипулирования, алеаторная, [практика] лабиринта знаков, и которая больше не обладает смыслом.

Тем не менее, с другой стороны, не верно, что в Бобуре присутствует несоответствие между содержащим и содержанием. Верным было бы предположить, что официальному культурному проекту предоставляется некий кредит. Но происходит в точности совершенно обратное. Бобур лишь невероятная работа трансмутации этой знаменитой традиционной культуры смысла в алеаторном порядке знаков, в порядке симулякров (третьем), совершенно подобном порядку потоков и труб фасада. И чтобы поднять массы на этот новый уровень семиургического порядка, их приглашают сюда – под противоположным предлогом, дабы приобщить их к культуре смысла и глубины.

Необходимо таким образом исходить из аксиомы: Бобур это *памятник культурного устрашения*. За музейным сценарием, служащим лишь спасению гуманистической фикции культуры, скрывается настоящая работа смерти культуры, и именно к этой настоящей *работе культурного траура* весело призваны массы.

И они туда ринулись. В этом состоит высшая ирония Бобура: массы ринулись туда не потому, что они пускают слюну при виде этой культуры,

которая им была недоступна на протяжении веков, но потому что им впервые предоставляется случай массово участвовать в этой масштабной работе траура по культуре, которую они в глубине души всегда ненавидели.

Таким образом, недоразумение тотально, когда Бобур выдают за массовую культурную мистификацию. Массы спешат туда, чтобы насладиться этой казнью, этим расчленением, этой операциональной проституцией культуры наконец-то по-настоящему ликвидированной, включая целую контркультуру, которая лишь ее апофеоз. Массы стремятся к Бобуру точно так же, как они стремятся к местам катастрофы, с тем же непреодолимым порывом. Более того: они *есть* катастрофа Бобура. Их число, их топтание, их ослепление, их зудящее желание все увидеть, все подержать в руках, это объективно смертельное и катастрофичное поведение для всего предприятия. И не только их вес угрожает постройке, но их прилипчивость, их любопытство, уничтожает сами содержания этой культуры анимации. Этот натиск больше не имеет ничего общего с тем, что предполагалось в качестве культурной задачи, это даже ее радикальное отрицание, в своем излишестве и самом успехе. Таким образом, именно масса выполняет роль катастрофического фактора в этой структуре катастрофы, *массовой культуре кладет конец сама масса*.

Циркулируя в пространстве прозрачности, она, разумеется, конвертирована в потоки, но, в то же время, своей непрозрачностью и инерцией она кладет конец этому «поливалентному» пространству. Ее призывают участвовать, симулировать, играть с моделями – она поступает лучше: она участвует и манипулирует настолько хорошо, что стирает весь смысл, который хотят придать операции, и ставит под угрозу даже инфраструктуру здания. Так, всегда нечто вроде пародии, гиперсимуляции в ответ на культурную симуляцию, превращает массы, которые должны были быть лишь скотом культуры, в исполнителя казни этой культуры, а Бобур был только ее стыдливым воплощением.

Нужно поплодировать этому успеху культурного устрашения. Все анти-художники, все левые и хулители культуры никогда еще так не приближали устрашающую эффективность этой монументальной черной дыры. Каковой является Бобур. Это по-настоящему революционная операция, в действительности, потому что она произвольна, бессмысленна и бесконтрольна, в то время как любая операция, нацеленная на уничтожение культуры, как мы знаем, только воскрешает ее.

По правде говоря, единственное содержание Бобура это сама масса, которую здание обрабатывает как конвертер, как фотографическая камера, или в терминах *input/output*⁶⁹, в точности как нефтеперерабатывающий завод перерабатывает нефть или поток сыроматериала.

Никогда еще не было так ясно, что содержание – здесь культура, в других местах информация или товар – есть не что иное, как призрачная поддержка операции самого медиума, чья функция всегда состоит в том, чтобы индуктировать из массы, производить гомогенный ментальный и человеческий поток. Огромное движение «туда-и-обратно», похожее на движение работников пригорода, поглощенных и выброшенных в определенные часы рабочими местами. И причем именно о работе и идет здесь речь – работе теста, опроса, управляемого опрашивания: люди приходят сюда выбирать предметы-ответы на все вопросы, которые они только могут себе задать, или скорее они *сами приходят в ответ* на функциональный и направленный вопрос, который составляют предметы. И речь идет скорее не о конвейере, а о программатической дисциплине, чьи противоречия давно стерлись за поволокой толерантности. Далек за пределами традиционных институтов капитала, гиперрынок, или Бобур, «гиперрынок культуры», это уже модель всякой будущей формы

⁶⁹ Примеч. переводчика. Информационно-технический термин с англ яз. – «ввод/вывод».

контролируемой социализации: ретотализация в гомогенное пространство-время всех рассеянных функций тела и общественной жизни (работа, досуг, медиа, культура), повторный перевод всех противоречивых потоков в термины интегрированных круговых потоков. Пространство-время целой операциональной симуляции общественной жизни.

Для этого необходимо, чтобы масса потребителей была эквивалентна или подобна массе продуктов. Такова конфронтация и слияние этих двух масс, производящихся на таком гиперрынке как Бобур, и которые создают из всего этого нечто очень отличное от традиционных мест культуры (музеев, памятников, галерей, библиотек, домов культуры и т.д.). Здесь вырабатывается *критическая масса*, за пределами которой товар становится гипертоваром, а культура – гиперкультурой – это значит, не связанной больше с четкими обменов или определенными потребностями, но с чем-то вроде тотального знакового универсума, или интегрированного кругового потока, который насквозь пронизывает импульс, непрерывный транзит выбора, чтения, референций, отметок, декодирования. Здесь культурные объекты, как вонне объекты потребления, не обладают никакой другой целью кроме, как поддерживать вас в состоянии интегрированной массы, трансисторического потока, намагниченной молекулы. То, чему учит гиперрынок: гиперреальность товара – то, чему учит Бобур: гиперреальность культуры.

Это разделение начинается уже с традиционного музея, эта перегруппировка, эта интерференция всех культур, эта безоговорочная эстетизация, составляющая гиперреальность культуры, но музей это все еще память. Никогда еще культура не утрачивала свою память в пользу складирования и функционального перераспределения. И это объясняет более общий факт: то, что повсюду в «цивилизованном» мире конструкция складов предметов повлекла за собой дополнительный процесс столпотворения людей, очередь, ожидание, пробки, концентрацию, лагерь.

Вот, «массовое производство», не в смысле массивного производства или использования масс, но производство *массы*. Масса как конечный продукт любой социальности, резко кладущая конец социальности, поскольку эта масса, про которую нам рассказывают, будто она есть социальное, на самом деле наоборот является местом имплозии социального. *Масса это сфера, все более и более густая, в которой происходит имплозия всего социального, пожираемого в непрерывном процессе симуляции.*

Отсюда это вогнутое зеркало: именно при виде массы внутри, у массы появляется соблазн примкнуть. Типичная методика маркетинга: вся идеология прозрачности обретает здесь смысл. Или еще: инсценируя сокращенную идеальную модель, надеяться на ускоренную гравитацию, на автоматическую агглютинацию культуры как на автоматическую агломерацию масс. Тот же процесс: операция ядерной цепной реакции, или зеркальная операция белой магии.

Бобур, таким образом, впервые в масштабе культуры, так же как гиперрынок в масштабе товара: совершенный круговой оператор, демонстрация неважно чего (товара, культуры, толпы, сжатого воздуха) посредством *его собственной ускоренной циркуляции.*

Но если склады предметов влекут за собой складирование людей, то латентное насилие на складе предметов влечет за собой инвертированное насилие людей.

Любой склад жесток, и в любой массе людей также присутствует специфическое насилие, выражающееся в том, что там происходит имплозия – насилие, зависящее от ее гравитации, сгущения вокруг собственного инертного очага. Масса это инертный очаг и отсюда концентрация

совершенно нового насилия, необъяснимого и отличного от взрывного (explosive)⁷⁰ насилия.

Критическая масса, импловзивная масса. За пределами 30 000, она рискует «расплющить» структуру Бобура. Пусть намагниченная структурой масса станет разрушительной переменной самой структуры – если в этом заключался замысел создателей (но как на это надеяться?), если они таким образом запрограммировали шанс одним махом покончить с архитектурой и культурой – тогда Бобур становится самым дерзким объектом и самым удачным хепенингом века.

Расплющите Бобур! Новое слово революционного порядка. Бесполезно его поджигать, бесполезно его оспаривать. Давайте! Это лучший способ его разрушить. Успех Бобура больше не тайна: люди идут туда *за этим*, они ринулись в это здание, чья хрупкость уже дышит катастрофой, с единственной целью расплющить его.

Разумеется, они подчиняются императиву устрашения: им дается объект для потребления, культура для пожирания, здание для манипуляции. Но в то же время, они определенно нацелены, и, не зная об этом, на его уничтожение. Столпотворение это единственное действие, которое масса как таковая может произвести – бомбардирующая масса, бросающая вызов зданию массовой культуры, дающая отпор собственным *весом*, то есть своим аспектом наиболее лишенным смысла, самым глупым, наименее культурным, на вызов культурности, который брошен ей Бобуром. На вызов массивной аккумуляции к стерилизованной культуре, масса отвечает разрушительным вторжением, которое находит продолжение в жестокой манипуляции. На ментальное устрашение масса отвечает прямым физическим устрашением. Это ее собственный вызов. Ее хитрость состоит в том, чтобы ответить в тех же самых терминах, к которым ее склоняют, но кроме этого, ответить на симуляцию, в которую ее заключают восторженным социальным процессом,

⁷⁰ Примеч. переводчика. В противоположность *implosif(ve)*, *implosie (f)* – имплозия.

выходящим за пределы собственных целей и исполняющим роль разрушительной гиперстимуляции⁷¹.

Люди жаждут все брать, все расхищать, все поглощать, все хватать. Смотреть, расшифровывать, изучать их не прельщает. Единственный мощный аффект это аффект манипуляции. Организаторы (и художники, и интеллектуалы) напуганы этим бесконтрольным поползновением, поскольку они рассчитывают всегда лишь на обучение масс *спектаклю* культуры. Они не рассчитывают никогда на это активное, разрушительное ослепление, жесткий и оригинальный ответ на дар непонятной культуры, притяжение со всеми чертами взлома и акта вандализма.

Бобур мог бы и должен был исчезнуть на следующий день после инаугурации, разрушенный и расхищенный толпой, это был бы ее единственный возможный ответ на абсурдный вызов прозрачности и демократии культуры – каждый унес бы с собой по болту в качестве фетиша этой самой фетишизированной культуры.

Люди приходят потрогать, они смотрят так, как если бы они трогали, их взгляд это лишь аспект тактильной манипуляции. Речь как раз идет о тактильном пространстве, более не о визуальном или пространстве дискурса, и люди напрямую включены в процесс: манипулировать/быть манипулируемым, вентилировать/быть вентилируемым, циркулировать/заставить циркулировать, что не относится больше к порядку ни репрезентации, ни дистанции, ни рефлексии. Нечто, что похоже на панику, и на мир паники.

⁷¹ По отношению к этой критической массе, и ее радикальному пониманию Бобура, насколько смехотворна студенческая манифестация в Венсеннах в вечер инаугурации!

Замедленная паника, без внешнего движения. Это насилие внутри пресыщенного ансамбля. *Имплозия*.

Бобур совершенно не может сгореть. Все предусмотрено. Пожар, взрыв, разрушение не являются больше воображаемой альтернативой подобного рода здания. Именно имплозия есть форма уничтожения «четвертичного», кибернетического и комбинаторного мира.

Ниспровержение, жесткая деструкция, это то, что отвечает способу производства. Пространству путей, комбинаторики и потоков отвечают обратимость и имплозия.

Таковы институты, Государства, власти и т.д. Мечта увидеть, как все это взрывается из-за противоречий в действительности только мечта. То, что происходит в реальности, это институты, взрывающиеся вовнутрь от самих себя, из-за разветвлений, из-за обратной связи, сверхразвитых потоков контроля. *Власть взрывается вовнутрь*, это ее современный способ исчезновения.

Как и города. Пожары, войны, чума, революции, криминальные маргиналы, катастрофы: всей проблематике антигорода, внутренней или внешней негативности города, присуще что-то архаичное по отношению к его настоящему способу уничтожения.

Даже сценарий подземного города – китайская версия погребения структур – наивен. Город больше не повторяется согласно комплексу ощущений *репродукции*, зависящему еще от общей схемы производства, или согласно комплексу ощущений подобия, зависящему еще от схемы репрезентации. (Именно так еще происходит реставрация после второй мировой войны). Город не воскресает больше, даже в глубине – он создается заново, исходя из нечто вроде генетического кода, позволяющего повторить его бесконечное множество раз с помощью накопленной кибернетической памяти. Конец даже утопии Борхеса, карты, соизмеримой с территорией и полностью ее дублирующей: сегодня симулякр происходит не путем

дублирования или редупликации, но посредством генетической миниатюризации. Конец репрезентации и имплозия, здесь также, всего пространства в ничтожно малой памяти, которая ничего не забывает, и никому не принадлежит. Симуляция необратимого порядка, имманентного, все более и более густого, потенциально пресыщенного, и который никогда больше не познает освобождающего взрыва.

Мы *были* культурой освободительного насилия (рациональности). Будь то культура капитала, освобождения производительных сил, необратимого расширения поля разума и поля ценности, захваченного пространства и колонизированного до мировых пределов – будь то культура революции, предвосхищающая будущие формы социального и энергии социального – схема та же: схема сферы в процессе экспансии, медленными или быстрыми фазами, схема высвобожденной энергии – воображаемое сияния.

Насилие, которое его сопровождает, это насилие, происходящее из более крупного мира: это насилие производства. Данное насилие диалектично, энергетично, катарсично. Это то насилие, которое мы научились анализировать и знакомое нам: насилие, намечающее пути социального и ведущее к пресыщению всего поля социального. Это *детерминированное*, аналитическое, высвобождающее насилие.

Совсем иное насилие появляется сегодня, которое мы не умеем больше анализировать, поскольку оно ускользает от традиционной схемы взрывного насилия: имплозивное насилие, следующее не из расширения системы, но из ее пресыщения и ее сжимания, как это происходит с физическими звездными системами. Насилие как следствие безграничного уплотнения социального, состояния сверхрегулируемой системы, перенасыщенного потока (знанием, информацией, властью) и гипертрофичного контроля, инвестирующего все промежуточные нервные импульсы.

Это насилие нам непонятно, потому что все наше воображаемое основано на логике систем в экспансии. Оно необъяснимо, потому что не детерминировано. Возможно, оно даже не исходит больше из системы индетерминации. Так как алеаторные модели, пришедшие на смену классическим моделям детерминации и каузальности, фундаментально не отличаются. Они выражают переход от определенных систем экспансии к системам производства и экспансии во всех направлениях – звездообразно или ризоматично, неважно – все философии разъединения энергий, иррадиации интенсивностей и молекуляризации желания находятся в русле единого смысла, смысла насыщения вплоть до промежуточных разъединений и до бесконечности сетей. Различие между молярным и молекулярным только в модуляции, последняя возможна, в энергетическом фундаментальном процессе систем в экспансии.

Другое дело, если мы переходим из тысячной фазы освобождения и разъединения энергий в фазу имплозии, миновав нечто вроде максимального излучения (пересмотрите, понятия потери и расхода Батая в этом смысле, и солнечный миф неистощимого излучения, на котором он основывает свою антропологию регулирования расходов: это последний взрывной и лучезарный миф нашей философии, последний фейерверк общей экономики в сущности, но все это уже более не имеет смысла для нас), в фазу *обратимости социального* – гигантскую обратимость поля, достигшего однажды точки насыщения. Звездные системы также не прекращают существовать, рассеяв свою энергию излучения: они взрываются вовнутрь, согласно изначально скрытому, затем прогрессивно ускоряющемуся процессу – они невероятно красиво сжимаются, и становятся инволютивными системами, поглощающими все окружающие энергии, даже

становятся черными дырами, где мир смысла, как излучение и потенциальная энергийная бесконечность в нашем понимании, уничтожается.

Возможно большие метрополии – конечно, они, если эта теория имеет смысл – стали очагами имплозии в этом смысле, очагами абсорбции и резорбции самого социального, чей золотой век, современник двойного концепта капитала и революции, несомненно, завершен. Социальное сокращается медленно, или резко, в инертное поле, уже поглощающее политическое. (Обратная энергия?). Необходимо остеречься от того, чтобы принимать имплозию за негативный, инертный, регрессивный процесс, как то навязывает нам язык, восхваляя инвертированные термины эволюции, революции. Имплозия это специфический процесс с непросчитываемыми последствиями. Май 68⁷² явился без сомнения первым имплозивным эпизодом, то есть в противоположность тому, как его переписали в терминах революционной прозопопеи, явился первой жестокой реакцией на пресыщение социального, реакцией, вызовом гегемонии социального, в противоречие, впрочем, с идеологией самих участников, которые желали продвинуться в социальном – таково воображаемое, всегда над нами доминирующее – и, тем не менее, немалая часть событий 68 года еще были избавлены от этой революционной динамики и взрывного насилия, но нечто иное, в то же самое время, началось в тот момент: жестокая инволюция социального, до такой степени определенная, а также последовательная и внезапная имплозия власти, за короткий промежуток времени, но которая так и не прекращалась с тех пор – вот это то, что, в сущности, продолжается, имплозия, социального, имплозия институтов, имплозия власти – а вовсе не какая-то ненаходимая революционная динамика. Напротив, сама революция, идея революции также взрывается вовнутрь, и эта имплозия более отягощена последствиями, чем сама революция.

⁷² Примеч. переводчика. Май 1968 года, или майские события 68 г. в Париже ознаменованы социальным кризисом во Франции, вылившимся в массовые беспорядки, демонстрации и всеобщую забастовку. Май 68 ассоциируется с массовой студенческой забастовкой в парижских университетах, которая собственно и получила дальнейшее продолжение в виде всеобщей забастовки, повлекшей за собой смену правительства и отставку Шарля де Голля.

Разумеется, начиная с 68 года, и благодаря 68, социальное разрастается как пустыня – участие, управление, генерализованное самоуправление, и т.д. – но в то же время приближается, в мельчайших точках гораздо более многочисленных, чем в 68, к своему охлаждению и тотальной обратимости. Скрытое потрясение, понятное для исторического разума.

Гиперрынок и гипертовар

За тридцать километров по окружной стрелки направляют вас к этим большим центрам сортировки, каковыми являются гиперрынки, к этому гиперпространству товара, где вырабатывается вдалеке от постороннего взгляда новая социальность. Нужно видеть, как он централизует и перераспределяет целый район и популяцию, как он концентрирует и рационализирует расписание, маршруты, практики – создавая огромное возвратно-поступательное движение, совершенно похожее на движение работников из пригорода, поглощенных и выброшенных в фиксированные часы с их места работы.

В сущности, здесь идет речь о другом виде работы, о работе аккультурации, конфронтации, экзамена, кода и социального вердикта: люди приходят, чтобы найти здесь и выбрать предметы-ответы на все вопросы, которые они только могут себе задать; или скорее они *сами приходят в качестве ответа* на функциональный и целенаправленный вопрос, который составляют предметы. Предметы это больше не товары; они даже в точности больше не знаки, смысл и послание которых предстояло бы разгадать и присвоить, это *тесты*, это они опрашивают нас, и мы обязаны им отвечать, а

ответ заранее включен в вопрос. Так, похожим образом, функционируют все сообщения медиа: ни информация, ни коммуникация, но референдум, непрерывный тест, круговой ответ, верификация кода.

Никакого рельефа, перспективы, линии горизонта, в которой взгляд рисковал бы потеряться, но тотальный экран, на котором рекламные щиты и сами продукты в бесконечной экспозиции играют как эквивалентные и последовательные знаки. Есть служащие занятые единственно переделкой передней части сцены, поверхностной витрины, там, где взимание потребителями могло создать некую дыру. Самообслуживание еще усиливает это отсутствие глубины: одно и то же гомогенное пространство, без медиации, собирает людей и вещи, пространство прямой манипуляции. Но кто манипулирует другим?

Даже репрессия внедряется в качестве знака в этот универсум симуляции. Репрессия, ставшая устрашением, это лишь еще один знак в универсуме убеждения. Само видеонаблюдение является частью декора симулякров. Совершенный надзор на всех точках мог бы потребовать более тяжелого устройства контроля и более возвышенного, чем сам магазин. Это не было бы рентабельно. Таким образом, это намек на репрессию, «создатель знака» этого порядка, помещенный там на свое место; тогда этот знак может сосуществовать со всеми другими, и даже с инвертированным императивом, например, с тем, который выражают огромные щиты, приглашающие вас расслабиться и сделать выбор с полным беспристрастием. Эти щиты, в действительности, выслеживают и наблюдают за вами, так же хорошо, так же незаметно, как и «полицейское» телевидение. Оно вас смотрит, вы сами себя в нем смотрите, вперемешку с остальными, это зеркало без оловянной амальгамы потребительской активности, игра раздвоения и удвоения, которая замыкает мир на самом себе.

Гиперрынок неотделим от автодорог, которые усыпают и питают его, от паркингов, усеянных автомобилями, от компьютерного терминала – и еще

далее, по концентрическим окружностям – от целого города, являющегося тотальным функциональным экраном активности. Гиперрынок похож на большой монтажный завод, и более чем, вместо того, чтобы быть связанными с рабочей цепочкой рациональным постоянным принуждением, агенты (или пациенты), мобильные и децентрированные, создают впечатление, будто проходят от одного к другому звену цепи по случайным путям. Расписание, выбор, покупка тоже случайны, в отличие от практик работы. Но, тем не менее, речь идет о цепи, о программатической дисциплине, чьи запреты стерты за поволокой толерантности, легкости и гиперреальности. Гиперрынок это уже, за пределами завода и традиционных институтов капитала, модель всякой будущей контролируемой социализации: повторная тотализация в гомогенное пространство-время всех рассеянных функций тела и социальной жизни (работа, досуг, пища, гигиена, транспорт, медиа, культура); повторный перевод всех противоречивых потоков в термины интегрированных кругов; пространство-время целой операциональной симуляции социальной жизни, целой структуры жилищной зоны и незаконной торговли.

Модель управляемой антиципации, гиперрынок (в Соединенных Штатах особенно) предшествует агломерации; именно он создает агломерацию, тогда как традиционный рынок находился в сердце населенного пункта, месте, куда и город и деревня вместе прокладывали путь. Гиперрынок это выражение целого образа жизни, в котором исчезла не только деревня, но и город, чтобы уступить место «агломерации» - урбанистический функциональный zoning полностью оборудованный системой сигнализации, чьим эквивалентом он и является, микромодель с точки зрения потребления. Но его роль выходит далеко за пределы «потребления», а предметы там не относятся больше к специфической реальности: главенствует их серийная компоновка, циркулярная, красочная, будущая модель социальных отношений.

«Форма» гиперрынок способствует, таким образом, пониманию того, что он есть конец современности. Большие города видели, на протяжении века примерно (1850-1950) как рождалось поколение больших «современных» магазинов (многие носили это имя тем или иным образом), но эта фундаментальная модернизация, связанная с модернизацией транспорта, не перевернула урбанистическую структуру. Города остались городами, в то время как новые города *превращены в сателлит* гиперрынком или *shopping center*, обслуживаемые программируемой транзитной сеткой, они прекращают быть городами, чтобы стать агломерациями. Появился новый морфогенез, берущий начало в кибернетическом типе (то есть репродуцирующий на уровне территории, жилища, транзита, сценарии молекулярной команды, являющиеся сценариями генетического кода), и форма которого является ядерной и орбитообразной. Гиперрынок как *ядро*. Город, даже современный, его больше не поглощает. Это он устанавливает орбиту, по которой движется агломерация. Он служит *имплантом* новым агрегатам, так же как действуют иногда университет или еще завод – но больше не завод XIX века, ни децентрализованный завод, который, не нарушая орбиты города, устанавливается в пригороде, но завод монтажа, автоматизированный, с электронной системой управления, значит, соответствующей функции и рабочему процессу, полностью лишенным единой территории. С этим заводом, как и с рынком или новым университетом, больше не происходит обращения к функциям (коммерции, работе, знанию, досугу), которые автономизируются и перемещаются (что характеризует также развертывание «современного» города), но к *модели дезинтеграции функций*, индетерминации функций и дезинтеграции самого города, трансплантированного вне города и принятого за гиперреальную модель, ядро синтетической агломерации, не имеющего ничего общего с городом. Негативные сателлиты города, выражающие конец города, даже

современного города, как детерминированного, качественного пространства, как оригинального синтеза общества.

Можно было бы подумать, что данная имплантация соответствует рационализации различных функций. Но, в действительности, начиная с того момента, когда функция гиперспециализировалась до способности быть проектируемой из всех комнат на полностью оборудованной территории, она теряет собственную финальность и становится чем-то другим: полифункциональным ядром, собранием «черных ящиков» с множественным input/output, очагом конвекции и деструктуризации. Эти заводы и университеты больше не заводы, ни университеты, а гиперрынки уже не имеют ничего общего с рынком. Странные новые предметы, чьей абсолютной моделью служит центральная атомная станция, и откуда излучаются нечто вроде нейтрализации территории, мощь устрашения, которые за видимой функцией этих предметов составляют без сомнения их глубинную функцию: гиперреальность функциональных ядер, которые таковыми совершенно не являются. Эти новые объекты это полюса симуляции, вокруг которых разрабатывается, в отличие от старых вокзалов, заводов или традиционной транспортной сетки, нечто другое, нежели «современность»: гиперреальность, симультанность всех функций, без прошлого, без будущего, операциональность по всем направлениям. И без сомнения также кризисы, или даже новые катастрофы: Май 68 начинается в Нантерре, а не в Сорбонне, то есть в месте, где впервые во Франции, гиперфункционализация «вне стен» места знания равноценна детерриториализации, охлаждению, потере функции и финальности этого знания в нео-функциональном программируемом ансамбле. Там, возникло новое, оригинальное насилие в ответ на орбитальную сателлизацию модели (знание, культура), с потерянным референтом.

Имплозия смысла в медиа

Мы находимся в пространстве, в котором информации все больше и больше, а смысла все меньше и меньше.

Три гипотезы:

- или информация производит смысл (негэнтропийный фактор), но ей не удается возместить грубую потерю значения во всех областях. Напрасно снова вводить сообщения и содержания, посредством медиа, потеря, поглощение смысла происходит быстрее, чем его введение. В этом случае, необходимо обратиться к продуктивности базы для того, чтобы заменить умирающие медиа. В этом вся идеология свободы слова, медиа, размноженных на бесчисленные индивидуальные клетки передачи, даже «анти-медиа» (радио-пираты и т.д.).

- Или информация не имеет ничего общего со значением. Это другое дело, операциональная модель иного порядка, чуждого смыслу и циркуляции смысла как такового. Это гипотеза Шеннона: гипотеза сферы чисто инструментальной информации, технического медиума, не имплицитующего никакой смысловую финальность, и которая, следовательно, также не должна быть имплицитована в ценностном суждении. Что-то вроде кода, каковым может являться код генетический: он есть то, чем является, оно так работает, а смысл это нечто другое, то, что в каком-то роде следует после, как у Моно в *Случае и Необходимости*. В этом случае, просто не было бы отношения значения между инфляцией и информации и дефляцией смысла.

- Или, наоборот, существует строгая и необходимая корреляция между обоими, в той степени, в которой информация напрямую деструктивна, или

нейтрализует смысл и значение. Потеря смысла напрямую связана с разлагающим, устрашающим действием информации, медиа и масс-медиа.

Это самая интересная гипотеза, но она идет вразрез с любым принятым значением. Повсюду социализация измеряется степенью предания огласке в медиатических сообщениях. Десоциализирован, или виртуально асоциален тот, кто недостаточно экспонирован в медиа. Повсюду информация нацелена на производство ускоренной циркуляции смысла, прибавочной стоимости смысла, тождественной экономической стоимости, происходящей из ускоренного оборота капитала. Информация дана в качестве создающей коммуникацию, и даже, в случае огромного расходования, согласно всеобщему консенсусу желательно, тем не мене, чтобы в итоге наличествовал остаток смысла, который перераспределялся бы во всех уголках социального – так же, как и согласно консенсусу необходимо, чтобы материальное производство, несмотря на его дисфункционирование и нерациональность, все-таки выходило на прибыль с точки зрения богатства и конечной социальной цели. Мы все союзники этого мифа. Это альфа и омега нашей современности, без которых правдоподобие нашей социальной организации было бы разрушено. Однако *факт состоит в том, что оно рушится*, в силу данной причины. Поскольку там, где как нам кажется, информация производит смысл, все происходит наоборот.

Информация пожирает свои собственные содержания. Она пожирает коммуникацию и социальное. И все это по двум причинам.

1. Вместо того чтобы производить коммуникацию, *она истощается в процессе мизансцены коммуникации*. Вместо производства смысла, она истощает себя в процессе мизансцены смысла. Гигантский процесс симуляции, который нам хорошо известен. Не направленное интервью, слово, звонки слушателей, участие во всех направлениях, шантаж словом: «Вы затронуты, вы есть событие, и т.д.». Все более и более информация

захватывается чем-то вроде этого призрачного содержания, гомеопатической прививки, прерванного сна коммуникации. Циркулирующая схема, благодаря которой происходит мизансцена желаний аудитории, анти-театр коммуникации, который, как нам известно, является всегда не более чем переработкой в негативное традиционных оснований, интегрированный поток негативного. Огромные энергии пущены в ход, чтобы удержать этот симулякр, чтобы избежать резкой рассимуляции, которая столкнула бы нас с очевидной реальностью радикальной потери смысла.

Бесполезно спрашивать себя, потеря ли коммуникации влечет за собой эту эскалацию симулякра, или это симулякр там изначально в целях устрашения, в целях замыкания с самого начала всякой возможности коммуникации (прецессия модели, которая кладет конец реальному). Бесполезно спрашивать себя о том, что первично, начала нет, это круговой процесс – процесс симуляции, процесс гиперреального. Гиперреальность коммуникации и смысла. Реальнее, чем само реальное, именно так уничтожается реальное.

Так, коммуникация, так же как и социальное, функционируют в замкнутом потоке, подобно приманке – к которому прибавляется сила *мифа*. Убежденность, вера в информацию, добавляется к этому тавтологическому доказательству, данному системой от самой себя, удваивая в знаках потерянную реальность.

Но можно также подумать, что эта вера, такая же двусмысленная, что и та, которая была связана с мифами в архаических обществах. *В них веришь и не веришь в них*. Не задаешься вопросом. «Я прекрасно знаю, но тем не менее». Что-то вроде обратной симуляции откликается в массах, в каждом из нас, на эту симуляцию смысла и коммуникации, в которую нас заключает эта система. На эту тавтологию системы откликом послужила амбивалентность, на устрашение откликом послужило охлаждение, или все та же таинственная вера. Миф существует, но необходимо предостеречь себя от мысли, что люди

в него верят: именно в этом ловушка критической мысли, которая способна проявляться только при допущении наивности и глупости масс.

2. Под завесой обостренной коммуникации, масс-медиа, форсированная информация преследуют непреодолимую деструктуризацию социального.

Так, информация растворяет смысл и растворяет социальное, в виде некой туманности, направленной вовсе не на рост инновации, но совсем наоборот, на тотальную энтропию⁷³.

Так, медиа осуществляют не социализацию, а совсем наоборот, имплозию социального в массах. И это есть не что иное, как макроскопическое распространение *имплозии смысла* на микроскопическом уровне знака. Последнюю необходимо анализировать, исходя из формулы Маклюэна *medium is message*, последствия которой мы так и не исчерпали.

Смысл этого в том, что смысловые содержания абсорбированы единой доминирующей формой медиума. Медиум единственный производит событие – и это независимо от сходных или неспровергающих содержаний. Серьезная проблема для всей контр-информации, радио-пиратов, анти-медиа и т.д. Но существует нечто более важное, чего не вывел даже сам Маклюэн. Так как за пределами этой нейтрализации всех содержаний, возможно было бы еще надеяться на работу медиума в собственной форме, и на трансформацию реального, используя влияние медиума как формы. При всех аннулированных содержаниях, вероятно, остается еще ценность подрывного,

⁷³ Мы говорили здесь об информации сугубо в социальном контексте коммуникации. Было бы очень интересно довести эту гипотезу до кибернетической *теории* информации. Здесь также, согласно фундаментальному тезису эта теория должна быть синонимом негэнтропии, противостояния энтропии, роста смысла и организации. Но уместным было бы предложить обратную гипотезу: информация = энтропия. Например, *информация или знание, которое возможно получить из системы или события, уже является формой нейтрализации и энтропии данной системы* (расширить до наук, в общем, и до гуманитарных и общественных наук, в особенности). *Информация, в которой отражается или из которой распространяется событие, является уже размытой формой этого события.* Не нужно стесняться анализировать в этом смысле интервенцию медиа в Мае 68. Масштаб, приписанный студенческой акции, позволил общую забастовку, но она явилась как раз черным ящиком нейтрализации исходной вирулентности движения. Само преувеличение стало смертельной ловушкой, а не позитивным расширением. Остерегаться универсализации борьбы посредством информации. Остерегаться кампаний солидарности во всех направлениях, этой одновременно электронной и светской солидарности. Вся стратегия универсализации различий является энтропийной стратегией системы.

революционного значения, *медиума как такового*. Однако – и вот куда приводит к своему пределу формула Маклюэна – место имеет не только имплозия сообщения в медиуме, в том же движении присутствует имплозия самого медиума в реальном, имплозия *медиума и реального*, в виде некой гиперреальной туманности, где даже определение и различимая акция медиума больше не уловимы.

Однако характеристики современности не распространяются на сами медиа, чей «традиционный» статус не затрагивается. Формула Маклюэна *Medium is message*, являющаяся формулой-ключом эры симуляции (медиум это сообщение – передающий это получатель – замкнутость всех полюсов – конец паноптического и перспективного пространства – таковы альфа и омега *нашей* современности), сама эта формула должна быть рассмотрена в следующем контексте, после того, как все содержания и сообщения испарились в медиуме, сам медиум улетучивается как таковой. В сущности, право на существование медиуму предоставляет все еще сообщение, именно сообщение придает медиуму его различимый, определенный статус посредника коммуникации. Без сообщения, медиум также впадает в неопределенность, характерную для всех наших великих систем суждения и ценности. Единственная *модель*, чья эффективность *немедленна*, производит одновременно сообщение, медиум и «реальное».

В конечном итоге, *Medium is message* означает не только конец сообщения, но еще и конец медиума. Медиа нет в буквальном смысле слова (я говорю особенно об электронных массовых медиа) – то есть посреднической инстанции между одной реальностью и другой, между одним состоянием реального и другим. Ни в содержаниях, ни в форме. Это то, что в строгом смысле означает имплозию. Абсорбция полюсов одного в другом, замыкание между полюсами во всей различительной системе

смысла, раздавливание терминов и различных оппозиций – стало быть, невозможность любой медиации, любой диалектической интервенции между двумя или одного в другой. Замкнутость всех воздействий медиа. Необходимо до конца рассмотреть эту критичную, но оригинальную ситуацию: она единственная нам еще оставлена. Бесполезно мечтать о революции содержаний, бесполезно мечтать о революции формы. Поскольку медиум и реальное представляют собой отныне лишь туманность, не поддающуюся расшифровке в своей истине.

Это свидетельство имплозии содержаний, поглощения смысла, воскрешения самого медиума, резорбции любой диалектики коммуникации в тотальном круговороте модели, имплозии социального в массах, может показаться катастрофичным и безнадежным. Но оно является таковым только с точки зрения идеализма, доминирующего над всем нашим видением информации. Мы все питаемся идеализмом, одержимым смыслом и коммуникацией, идеализмом коммуникации посредством смысла, и, в этой перспективе, конечно же, нас преследует *катастрофа смысла*.

Но необходимо видеть, что термин «катастрофа» обладает этим «катастрофичным» смыслом конца и уничтожения только в линейном видении аккумуляции, продуктивной финальности, которую нам предписывает система. Сам термин этимологически означает лишь искривление, свертывание цикла книзу, ведущего к тому, что можно назвать «горизонтом события», к предельному горизонту смысла: за его границей больше нет ничего, что могло бы иметь для нас смысл, – но достаточно выйти из этого ультиматума смысла, чтобы сама катастрофа не появлялась больше как последний и нигилистский срок, в том виде, в каком она функционирует в нашем актуальном воображаемом.

За пределами смысла имеет место ослепление, которое следует из нейтрализации и имплозии смысла. За пределами горизонта социального, находятся массы, следующие из нейтрализации и имплозии социального.

Главное на сегодняшний день – оценить этот двойной вызов – вызов в значении масс и их безмолвия (которое совершенно не является пассивным противостоянием) – вызов в значении медиа и их ослепления. Все маргинальные, альтернативные попытки воскресит смысл, вторичны по отношению к этому.

Очевидно, имеет место парадокс в этом запутанном смешении масс и медиа: медиа ли нейтрализуют смысл и производят «бесформенную» (или информированную) массу, или это масса победоносно противостоит медиа, отклоняя или поглощая без ответа все сообщения, которые они производят? Когда-то, в «Реквиеме по масс-медиа», я проанализировал (и приговорил) медиа в качестве институции необратимой модели коммуникации *без ответа*. А сегодня? Это отсутствие ответа может быть услышано, совершенно более не как стратегия власти, но как контр-стратегия, самих масс против власти. Тогда?

Масс-медиа находятся на стороне власти в манипуляции массами, или они на стороне масс в ликвидации смысла, в насилии над смыслом и в ослеплении? Медиа ли приводят массы к ослеплению, или это массы разворачивают медиа в сторону зрелищности? Могадишо-Штамгейм: медиа берут на себя функцию морального осуждения терроризма и эксплуатации страха в политических целях, но синхронно, в самой тотальной двусмысленности, они распространяют необработанное ослепление от террористического акта, они сами являются террористами, в той мере, в какой они шагают к ослеплению (вечная моральная дилемма, *ср.*: Умберто Эко: как не говорить о терроризме, как найти *хорошее применение* медиа – *его нет*). Медиа насмехаются над смыслом и над контр-смыслом, они манипулируют всеми смыслами одновременно, никто не может контролировать этот процесс, они передают симуляцию, внутреннюю по отношению к системе и симуляцию, разрушающую систему, согласно абсолютно кругообразной логике Мебиуса, – и все это так. И альтернативы

этому нет, как и логического решения. Лишь логическое ужесточение и катастрофичное решение.

С некоторой поправкой. Мы находимся визави с этой системой в двойкой и неразрешимой ситуации «double bind»⁷⁴ – в точности как дети визави с требованиями взрослого универсума. Они одновременно обязаны представлять собой автономных субъектов, ответственных, свободных и сознательных, и быть подчиненными объектами, инертными, послушными, правильными. Ребенок противостоит во всех отношениях, и на противоречивое требование он тоже отвечает двойной стратегией. Требованию быть объектом, он противопоставляет все практики непослушания, бунта, эмансипации, в общем, полное притязание субъекта. Требованию быть субъектом, он противопоставляет все так же упрямо и эффективно оппозицию объекта, то есть, в точности наоборот: инфантилизм, гиперконформизм, тотальную зависимость, пассивность, идиотизм. Ни одна из двух стратегий не обладает большей объективной значимостью, чем другая. Противостояние-субъект сегодня в одностороннем порядке завышено в цене и трактовано в качестве позитивного – так же как и в политической сфере практики освобождения, эмансипации, выражения, конституции политического субъекта считаются единственно приемлемыми и подрывными. А вот игнорировать равный удар, и, несомненно, превосходящий, всех практик объекта, отказа от позиции субъекта и смысла – как раз массовые практики – это мы погребем под презрительным словом отчуждения и пассивности. Освободительные практики отвечают на *один* из аспектов системы, на постоянный ультиматум, предъявленный нам, чтобы создать из нас чистый объект, но они совершенно не отвечают на другое

⁷⁴ Примеч. переводчика. Double bind – с англ. яз. двойное послание, двойная связь, концепция, играющая ключевую роль в теории шизофрении, разработанной Г. Бейтсоном. Логическим ядром *double bind* следует считать парадоксальное предписание, основанное на противоречии классификации и метаклассификации: «Приказываю тебе не выполнять моих приказов». Примером поведения double bind может служить то, когда мать на словах просит своего ребенка о выражении любви, однако одновременно с помощью жестов требует от ребенка держаться на некотором расстоянии от нее. Это приводит к тому, что любое действие ребенка будет расценено как неверное, и в дальнейшем ему может оказаться сложным как-то разрешить эту ситуацию.

требование, требование создать из нас субъекты, освободить нас, выразить нас любой ценой, голосовать, производить, решать, говорить, участвовать, играть игру – шантаж и ультиматум такой же важный, как и другой, несомненно, более важный сегодня. Стратегическим противостоянием системе, чьим аргументом выступает притеснение и репрессия, является освободительное требование субъекта. Но все это отражает скорее предшествующую фазу системы, и даже, если мы все еще стоим перед ней лицом к лицу, это больше не стратегическое поле: актуальный аргумент системы – максимизация слова, максимальное производство смысла. Так, стратегическим сопротивлением является сопротивление отказа от смысла и отказа от слова – или гиперконформистской симуляции самих механизмов системы, что является формой отвержения и категорического отказа. Это сопротивление масс: оно равнозначно возвращению системе ее собственной логики путем ее удвоения, возвращению, подобно зеркальному отражению, смысла, без его поглощения. Эта стратегия (если все еще можно говорить о стратегии) уносит его сегодня, потому что именно данная фаза системы его уже унесла.

Ошибиться в стратегии это важно. Все движения, играющие сугубо на освобождении, эмансипации, воскрешении субъекта истории, группы, слова, на воззвании к совести, даже на «призыве к бессознательному» субъектов и масс, не видят, что они идут в русле системы, чьим императивом сегодня служит как раз перепроизводство и регенерация смысла и слова.

Абсолютная реклама, нулевая реклама

То, что мы переживаем, это поглощение всех виртуальных модусов выражения в модусе рекламы. Все оригинальные культурные формы, все детерминированные языки поглощаются в модусе рекламы, потому что он не обладает глубиной, он мгновенный и мгновенно предается забвению. Триумф искусственной формы, меньший общий знаменатель всех значений, нулевая степень смысла, триумф энтропии над всеми возможными тропами. Низшая форма энергии знака. Эта невнятная мгновенная форма, лишена прошлого, будущего, лишена возможной метаморфозы, поскольку она последняя, обладает господством над всеми остальными. Все актуальные формы деятельности стремятся к рекламе, и многие там исчерпываются. Не обязательно реклама номинальная, та, которая производится как таковая – но рекламная *форма*, форма упрощенного операционального модуса, неясно соблазняющего, туманно консенсуального (все модальности там перемешаны, но приглушенным, раздраженным образом). Более обобщенно, рекламная форма это форма, в которой все единичные содержания аннулируются в тот самый момент, когда они могут быть затранскрибированы одни в других, в то время как особенностью «тяжелых» высказываний, артикулированных форм смысла (или стиля), является то, что они не могут быть выражены одни в других, не более чем правила игры.

Это долгое приближение к переводимости, а значит к тотальной комбинаторике, каковой является комбинаторика внешней прозрачности любых вещей, их абсолютной рекламы (и чья еще раз профессиональная реклама является лишь эпизодической формой), может расшифровываться в перипетиях пропаганды.

Реклама и пропаганда обретают весь свой размах начиная с Октябрьской революции и мирового кризиса 1929. Два массовых языка, возникшие из массового производства идей или товара, их реестры, изначально разделенные, прогрессивно стремятся к сближению. Пропаганда становится маркетингом и мерчендайзингом главных идей, политических людей и партий с их «фирменным имиджем». Она приближается к рекламе как посреднической модели единственной великой и настоящей стержневой идеи этого конкурентного общества: товар и марка. Подобное совпадение определяет общество, наше общество, в котором не существует больше различия между экономическим и политическим, потому что там повсюду царит один и тот же язык, общество, в котором политическая экономия, говоря буквально, наконец полностью реализована. То есть, растворена как специфическая инстанция (как исторический модус социального противоречия), разрешена, абсорбирована в языке без противоречий, как сон, потому что изборождена всего-навсего поверхностными интенсивностями.

Последующая стадия будет преодолена тогда, когда язык даже социального, после языка политического, смешается с этим ослепляющим влечением раздраженного языка, когда социальное станет рекламой, будет избрано подавляющим большинством, в его попытке навязать собственный фирменный образ. С ранга исторической судьбы, каковой оно являлось, само социальное скатилось до ранга «коллективного предприятия», утверждая свою рекламу во всех направлениях. Взгляните, какую прибавочную стоимость социального старается произвести каждая реклама: *werben werben*⁷⁵ – воздействие социального, присутствующего повсюду, на стенах, в горячих и безразличных голосах женщин дикторов, в важных и пронзительных голосах звукозаписи и в многочисленных тональностях видеороликов, которые бегут повсюду перед глазами. Вездесущая

⁷⁵ Примеч. переводчика. С немецкого языка *werben*, агитировать, вербовать, добиваться. *Werbung* – реклама.

социальность, абсолютная социальность, реализованная, наконец в абсолютной рекламе – то есть тотально растворенная и она тоже, социальность, галлюцинирующая как след на всех стенах в упрощенной форме просьбы социального, немедленно удовлетворенной эхом рекламы. Социальное как сценарий, чьей растерявшейся публикой являемся мы.

Так рекламная форма, заставила признать себя и развилась за счет всех других языков, как все более и более нейтральная, эквивалентная риторика, без эффектов, как «туманность без синтаксиса», сказал бы Ив Стурдзе, которая обволакивает нас со всех сторон (и которая одновременно исключает настолько спорную проблему «веры» и эффективности: она не предлагает инвестировать означаемые, она дарует упрощенную эквивалентность всех некогда различных знаков, и устрашает их самой этой эквивалентностью). Это определяет границы ее актуальной мощи и условия ее исчезновения, поскольку реклама сегодня не является больше ставкой, она есть одновременно «вхождение в нравы», а также выход из этой социальной и моральной драматургии, которую она представляла собой еще двадцать лет назад.

Это не только потому, что люди больше не верят в нее или восприняли ее как рутину. Дело в том, что если раньше она поражала этой мощью упрощения всех языков, то сегодня она лишена этой мощи из-за другого типа языка, еще более упрощенного и, стало быть, более операционального: информационных языков. Модель кадра, звуковой ленты и серии картинок, которые нам предлагает реклама, наравне с другими крупными средствами массовой информации, модель комбинаторного выравнивания всех предлагаемых дискурсов, этот еще риторический континуум звуков, знаков, сигналов, слоганов, которые она воздвигает как тотальное окружение, далеко опережена, напрямую в ее функции симуляции, магнитной лентой, электронным континуумом, который намечается в конце этого века. Микро-процесс, дигитальность, кибернетические языки заходят гораздо дальше в

том же смысле абсолютного упрощения процессов, чего не делала еще реклама на ее скромном уровне, еще воображаемом и зрелищном. И потому как эти системы заходят дальше, они поляризуют сегодня это ослепление, когда-то принадлежавшее рекламе. Именно информация, в информатическом смысле этого понятия, положит конец, уже кладет конец царству рекламы. Вот, что внушает страх, и вот, что завораживает. Рекламная «страсть» переместилась в компьютеры и в информатическую миниатюризацию повседневной жизни.

Предвосхищающей иллюстрацией подобной трансформации явилась папула К.Ф. Дика, этот рекламный трансисторичный имплантант, разновидность передающей присоски, электронного паразита, который крепится на теле, и от которого очень трудно избавиться. Но папула это еще и посредническая форма: это уже разновидность внедряемого протеза, который к тому же вдалбливает рекламные сообщения. Итак, гибрид, но предвосхищение психотропных и информатических сетей автоматического управления индивидами, рядом с которым рекламное воздействие подобно восхитительной перипетии.

Самый интересный на текущий момент аспект рекламы это ее исчезновение, ее разжижение как специфической формы, или просто как медиума. Она больше не (или никогда им и не являлась) средство коммуникации или информации. Или она происходит из этого специфического безумия сверхразвитых систем, чтобы избираться каждое мгновение, и таким образом, служить объектом собственной пародии. Если в определенный момент товар был собственной рекламой (и другой не было), то сегодня реклама стала собственным товаром. Она смешивается сама с собой (а эротизм, которым она себя наделяет, не более чем авто-эротический

показатель системы, который отныне обозначает себя сам – отсюда абсурдность видеть в этом «отчуждение» женского тела).

Поскольку медиум стал собственным сообщением (что обуславливает тот факт, что отныне существует запрос рекламы на нее саму, и что, таким образом, вопрос верить в нее или нет, даже и не ставится) , реклама находится в полном соответствии с социальным, чье историческое требование оказалось абсорбировано чистым и простым *спросом* социального: спросом в функционировании социального как предприятия, как ансамбля услуг, как образа жизни или выживания (необходимо спасти социальное, как необходимо защитить природу: социальное – это наша ниша) – а когда-то оно было чем-то вроде революции в самом его проекте. Что давно утеряно: социальное потеряло как раз эту мощь иллюзии, оно упало на уровень предложения и спроса, как и работа отошла от антагонистической силы капитала к простому статусу занятости, то есть блага (вероятно, редкого) и услуги как и все другие. Станет возможно, таким образом, делать рекламу работы, радость найти работу, точно так же как станет возможно делать рекламу социального. А настоящая реклама здесь уже сегодня: в дизайне социального, в возвеличивании социального в различных формах, в неистовом, упрямом призыве социального, потребность в котором заставляет резко себя почувствовать.

Фольклорные танцы в метро, бесчисленные кампании за безопасность, слоган «завтра я работаю», сопровождаемый улыбкой, когда-то предназначенной для досуга, и рекламный ролик, посвященный выборам за безукоризненно честных людей: «Я никому не позволяю голосовать за меня» – абсурдный слоган и который звучал настолько эффектно фальшиво, о смехотворной свободе, о свободе совершить социальное действие в самом его отрицании. Это не случайно, если реклама, после того, как долгое время передавала имплицитный ультиматум экономического типа, говоря и неумолимо повторяя: «Я покупаю, я потребляю, я наслаждаюсь», повторяет

сегодня во всех формах: «Я голосую, я участвую, я присутствую, меня это касается» – зеркало парадоксальной насмешки, зеркало безразличия любого *публичного* значения.

Обратная паника: известно, что социальное может раствориться в панической реакции, бесконтрольной цепной реакции. Но оно может также раствориться в обратной реакции, *инертной* цепной реакции, каждом пресыщенном микро-универсуме, саморегулируемом, информатизированном, изолированном в своем автоматическом управлении. Реклама является прообразом этого: первый набросок непрерывной нити знаков, как лента телетайпов – каждый изолирован в своей инерции. Предвещающая форма пресыщенного универсума. Зброшенного, но пресыщенного. Анестезированного, но переполненного до треска. Именно в подобном универсуме, набирает силу то, что Вирилио называет эстетикой исчезновения. Начинают появляться фрактальные объекты, фрактальные формы, дефектные зоны, являющиеся результатом пресыщения, и значит, процесса массивного неприятия, абреакции или оцепенения общества исключительно прозрачного для самого себя. Так же как и знаки рекламы, мы приумножаемся, становимся прозрачными и бесчисленными, делаемся светопроницаемыми или ризоматичными для того, чтобы ускользнуть от предельной инертной точки – мы выходим на орбиту, подключаемся, превращаемся в спутник, архивируемся – пути пересекаются: есть звуковая лента, видеолента, как в жизни есть лента-работа, лента-досуг, лента-транспорт, и т.д., все это захвачено лентой-рекламой. Повсюду имеется три или четыре ленты, а вы на пересечении. Поверхностное насыщение и ослепление.

Так как остается ослепление. Необходимо только увидеть Лас Вегас, абсолютный рекламный город (город пятидесятих, город безумных лет рекламы, и который сохранил тот шарм, сегодня в каком-то роде ретро, поскольку реклама тайно приговорена программатичной логикой, которая

породит довольно различные города). Когда видишь, как Лас Вегас целиком возникает из пустыни рекламным сиянием на исходе дня, и возвращается в пустыню на восходе, тогда видишь, что реклама это не то, что оживляет и украшает стены, она то, что стирает стены, стирает улицы, фасады и всю архитектуру, стирает все основание и всю глубину, и что именно данное уничтожение, данное поглощение всей поверхности (неважно какие знаки там циркулируют) погружает нас в эту одурманенную, гиперреальную эйфорию, которую мы не променяем больше ни что другое, и которая является пустой формой и без обращения к соблазну.

Язык позволяет тогда увлечь себя своему двойнику, и срывает лучшее с худшим в призрак рациональности, чьей формулой является: «Все должны в это верить». Таково послание того, что собирает нас в массу.

Ж.-Л. Бутт, *Деструктор интенсивностей.*

Реклама, таким образом, как информация: деструктор интенсивностей, акселератор инерции. Посмотрите, с какой скукой там повторяются все приемы смысла и бессмысленности, все процедуры, все приспособления языка коммуникации (функция контакта: вы меня слышите? Вы на меня смотрите? Оно будет говорить! – референциальная функция, поэтическая даже функция, аллюзия, ирония, игра слов, бессознательное), как все это поставлено в точности, как и секс в порно, то есть, без веры во все это, с той же усталой непристойностью. Вот почему бесполезно анализировать отныне рекламу как язык, поскольку происходит нечто иное: дублирование языка (изображений точно также), которому не отвечают ни лингвистика, ни семиология, потому что они работают с настоящей операцией смысла, не

предчувствуя этой карикатурной чрезмерности всех функций языка, этого выхода на огромное поле насмешки знаков, «потребляемых», как говорится в контексте их насмешки, за их насмешку и коллективный спектакль их игры, лишенной ставки – так же как и порно это гипертрофированная фикция секса, потребляемого в его насмешке, за его насмешку, коллективный спектакль бессодержательности секса в его барочном успении (именно благодаря барокко появилась эта триумфальная насмешка имитации мрамора, фиксирующая крушение религиозного в оргазме статуи).

Где золотой век рекламного проекта? Превознесение объекта посредством картинки, возвеличивание покупки и потребления посредством контролируемых рекламных расходов? Каким бы ни было закабаление рекламы управлением капитала (но этот аспект вопроса, вопрос социального и экономического влияния рекламы, всегда остается нерешенным и, в сущности, неразрешим), она всегда была не более чем порабощенной функцией, она была зеркалом, направленным в сторону пространства политической экономии и товара, она была в какой-то момент его славным воображаемым, воображаемым разорванного, но находящегося в экспансии мира. Но универсум товара больше таковым не является: это пресыщенный и инволюционирующий мир. Внезапно он потерял свое триумфальное воображаемое, и от стадии зеркала он в каком-то роде перешел к траурной работе.

Не существует больше сцены товара: остается лишь ее непристойная и пустая форма. А реклама служит иллюстрацией этой пресыщенной и пустой формы.

Вот почему она не имеет больше территории. Ее уловимые формы больше не значимы. Форум Центрального рынка⁷⁶, например, является гигантским рекламным ансамблем – операцией рекламы. Это не реклама кого-то, никакой фирмы, он даже не обладает статусом настоящего

⁷⁶ Примеч. переводчика. Forum des Halles – знаменитый торговый центр в Париже.

коммерческого центра или архитектурного ансамбля, не более чем Бобур в действительности является культурным центром: эти странные объекты, эти супергаджеты просто показывают, что наша социальная ментальность стала рекламной. И что-то, такое как Форум, иллюстрирует наилучшим образом то, что стало рекламой, то, что стало *публичной областью*.

Товар погребается как информация в архивах, как архивы в бункерах, как ракеты в атомных пусковых шахтах.

Конец товара счастливого и раскрытого, отныне он избегает солнца, и внезапно становится похож на человека, потерявшего свою тень. Так Форум Центрального рынка достаточно похож на человеческие похороны – похоронный люкс погребенного товара, прозрачного в свете черного солнца. Саркофаг товара.

Все здесь мертвенно, мрамор белый, черный, светло-розовый. Бункер-футляр, этого богатого сумрака, снобистского и матового, минеральное пространство андерграунд. Тотальное отсутствие флюидов, нет больше даже такой жидкой интересной ерунды, как водная пленка Парли 2, которая, по крайней мере, обманывала зрение – здесь нет больше даже забавной уловки, лишь притязательный траур, введенный в игру. (Единственная смешная идея ансамбля это как раз человек и его тень, идущие в оптической иллюзии по вертикальной бетонной плите: гигантское полотно красивого серого цвета на свежем воздухе, служащее кадром оптической иллюзии, эта стена живая, не желая того, в контрасте с семейным склепом от кутюр и претапорте, который собой представляет Форум. Эта тень красива, потому что она является контрастной аллюзией на низший мир, потерявший свою тень).

Все, что можно было бы пожелать, открыв однажды для публики это священное пространство, и из страха, как бы загрязнение, как и в случае с гротами Ласко, его безвозвратно не испортило (подумаем о бушующей массе системы скоростного транспорта), так это то, чтобы его немедленно закрыли от движения и бесповоротно накрыли саваном, дабы сохранить нетронутым

это свидетельство цивилизации парвеню, перешагнув стадию *апогея*(*арогée*), в стадию *подземной гробницы*(*хурогée*), товара. Здесь находится одна фреска, которая отображает длинный путь, пройденный от человека Таутавеля, через Маркса и Эйнштейна, чтобы прийти к Доротэ Бис... Почему бы не спасти эту фреску декомпозиции? Позже спелеологи ее откроют, в то же самое время, когда некая культура сделала выбор в пользу самопогребения, чтобы окончательно ускользнуть от собственной тени, заживо похоронить свои соблазны и приемы, как будто она уже посвящала их другому миру.

Clone story

Из всех протезов, отмечающих историю тела, двойник без сомнения самый древний. Но двойник как раз и не протез: это воображаемый образ, который, таковы душа, тень, изображение в зеркале, неотступно преследует субъект как своего Другого, который делает так, что тот становится одновременно самим собой и больше никогда не похожим на себя, который преследует его как едва уловимая и всегда предотвращенная смерть. Не всегда, тем не менее: когда двойник материализуется, когда он становится видимым, он означает неизбежную смерть.

Иными словами, мощь и воображаемое богатство двойника, те, в которых разыгрываются странность и в то же время интимность субъекта по отношению к самому себе (*heimlich/unheimlich*)⁷⁷, основываются на его нематериальности. На том факте, что он есть и остается фантазмом. Каждый может мечтать, и должен был мечтать всю свою жизнь об удвоении или совершенном размножении собственного существа, но все это остается только мечтой, и разрушает себя в желании превратить сон в реальное. Так же обстоит дело и с (примитивной) сценой соблазна: он выполняется только, если является результатом фантазии, смутным воспоминанием, никогда не бывая реальным. Нашей эпохе принадлежало желание предавать этот фантазм, так же как и другие [фантазмы], экзорцизму, то есть желание реализовать его, материализовать его во плоти, в костях, посредством тотальной бессмыслицы, заменить игру двойника на неуловимый обмен смерти с Другим в вечности Того же самого.

Клоны. Клонирование. Человеческое черенкование до бесконечности, каждая клетка индивидуального организма, способная повторно стать

⁷⁷ Примеч. переводчика. С нем. яз. (*heimlich*) тайный, секретный/(*unheimlich*) жуткий, тревожный, зловещий

матрицей идентичного индивида. В Соединенных Штатах несколько месяцев назад ребенок родился якобы подобно герани. Черенкованием. Первый ребенок-клон (происхождение индивида посредством растительного размножения). Первый рожденный из единственной клетки единственного индивида, его «отца», единственного производителя, точным ответом которого он, вероятно, является, совершенный близнец, двойник⁷⁸.

Мечта о вечном рождении близнецов, замещенном сексуальным зачатием, которое связано со смертью. Клеточный сон о размножении делением, самая чистая форма родства, поскольку она позволяет, наконец, обойтись без другого, и идти от того же самого к тому же самому (правда необходимо еще пройти через матку женщины, и через очищенную зародышевую клетку, но эта опора эфемерна, и в любом случае анонимна: женский протез мог бы его заменить). Одноклеточная утопия, которая путем генетики, ведет сложные существа к судьбе простейших.

Не это ли неосознанное стремление к смерти толкает, возможно, существа, наделенные половыми признаками, регрессировать в сторону формы воспроизводства, предшествующей образованию пола (не эта ли, впрочем, размножающаяся делением форма, эта репродукция и пролиферация путем чистой смежности, является для нас, в самой глубине нашего воображения, смертью и неосознанным стремлением к смерти – тем, что отрицает сексуальность и желает уничтожить ее, сексуальность, являющуюся носителем жизни, то есть критической и смертельной формы воспроизводства?) и толкает их, возможно, одновременно метафизически к отрицанию любого различия, любого искажения Того же самого, для того, чтобы стремиться только к увековечению идентичности, прозрачности генетической записи, не предназначенной больше для перипетий порождения?

⁷⁸ Ср.: Д. Рорвик, По его образу и подобию: копия человека, Париж, Grasset, 1978.

Оставим неосознанное стремление к смерти. Может быть речь о фантазме породить себя? Нет, так как он всегда исходит из образов матери и отца, родительских сексуальных образов, которые субъект может мечтать стереть, заменив их собой, но, совершенно не отрицая символическую структуру зачатия: стать своим собственным ребенком, это значит еще быть чьим-то ребенком. В то время как клонирование радикально уничтожает Мать, точно так же как и Отца, сплетение их генов, смешение их различий, но особенно дуальный акт, каковым является порождение. Выделитель клонов не порождается: он распускается из каждого из своих сегментов. Можно размышлять о богатстве этих растительных ответвлений, которые разрешают в результате всю эдипову сексуальность в пользу «не человеческого» пола, секса путем смежности и немедленного размножения – на самом деле речь не идет больше о фантазме породить самого себя. Отец и Мать исчезли, не в пользу случайной свободы субъекта; в пользу *матрицы, называемой кодом*. Больше ни матери, ни отца: матрица. И именно она, матрица генетического кода, «рожает» отныне до бесконечности в операциональном режиме, избавленном от любой случайной сексуальности.

Более и никакого субъекта, поскольку идентифицирующая редупликация кладет конец его делению. Стадия зеркала уничтожается в клонировании, или скорее она там присутствует в виде чудовищной пародии. Клонирование тем более не оставляет место, и по той же самой причине, нарциссической и древней мечте об отображении субъекта в его идеальном alter ego, так как это отображение еще проходит через образ: тот, в зеркале, в котором субъект отчуждается, чтобы снова обрести себя, или тот, соблазнительный и смертельный, в котором субъект себя видит, чтобы умереть в нем. Ничего похожего в клонировании. Больше никакого посредника, никакого образа – лишь индустриальный объект, каковым является отражение того, идентичного, который преследует его в серийности. Один никогда не является миражом, идеальным или смертельным, другого,

они могут лишь приплюсовываться друг к другу, и если они могут только приплюсовываться друг к другу, значит, что они никогда не были зачаты сексуально и им неведома смерть.

Речь не идет даже о рождении близнецов, так как в Близнецах имеет место специфическая чистота, и особенное ослепление, священное, числа Два, того, что в количестве двух изначально, и никогда не было одним. В то время как клонирование увековечивает повторение того же самого: $1 + 1 + 1 + 1$, и т.д.

Ни ребенок, ни близнец, ни нарциссический отблеск, клон является материализацией двойника посредством генетики, то есть, посредством уничтожения любого отличия и любого воображения. Которая [материализация] смешивается с экономией сексуальности. Безумный апофеоз производительной технологии.

Сегмент не нуждается в воображаемой медиации для воспроизведения, не белее чем земляной червь: каждый сегмент червя воспроизводится напрямую как целый червь, в точности, как и каждая клетка американского Генерального Президента-директора способна дать нового Генерального Президента-директора. В точности как каждый фрагмент голограммы может повторно стать матрицей целой голограммы: информация остается полной, возможно, с мельчайшим определением, в каждом из рассредоточенных фрагментов голограммы.

Именно так наступает конец тотальности. Если вся информация обретается в каждой из ее частей, ансамбль теряет свой смысл. Это так же означает конец тела, этой сингулярности называемой телом, чей секрет состоит именно в том, что оно не может быть сегментировано на дополнительные клетки, в том, что оно является неделимой конфигурацией, о чем свидетельствует его половая принадлежность (парадокс: клонирование до бесконечности будет фабриковать существа с полом, похожих на их модель, в то время как сам секс становится при этом бесполезной функцией –

но в действительности половые органы не являются функцией, это то, что делает тело телом, это то, что превосходит все части, все остальные функции этого тела). Половые органы (или смерть: в этом смысле это одно и то же) это то, что превосходит всю информацию, которая может быть собрана на теле. Однако где собрана вся эта информация? В генетической формуле. Вот почему она должна обязательно желать пробивать себе путь автономной репродукции, независимой от сексуальности и смерти.

Био-физио-анатомическая наука уже, препарированием органов и функций, начинает процесс аналитической декомпозиции тела, а микромолекулярная генетика является лишь ее логическим следствием, но на высшем уровне абстракции и симуляции, ядерном уровне, уровне клетки, задающей команду, уровне непосредственно генетического кода, вокруг которой разыгрывается вся эта фантасмагория.

В функциональном и механистическом видении, каждый орган является еще только частичным и дифференцированным протезом: уже симуляция, но «традиционная». В кибернетическом и информатическом видении это мельчайший недифференцированный элемент, это каждая клетка тела, которая становится «эмбриональным» протезом этого тела. Именно генетическая формула, записанная в каждой клетке, становится настоящим современным протезом всех тел. Если протез вообще является артефактом, который замещает неполноценный орган, то молекула ДНК, обладающая полной информацией относительно этого тела, является протезом в высшей степени, протезом, который позволит бесконечно продолжать это тело посредством него самого – само тело при этом является лишь бесконечной серией этих протезов.

Кибернетический протез бесконечно еще более тонкий и искусственный, чем механический протез. Поскольку генетический код не является «натуральным»: как и любая автономизированная и абстрактная часть целого становится искусственным протезом, который фальсифицирует

это целое, заменяя его собой (pro-thesis: его этимологический смысл⁷⁹), можно сказать, что генетический код, в котором стремится сжаться целостность существа, поскольку вся «информация» данного существа могла бы быть в нем заключена (именно в этом состоит невероятная жестокость генетической симуляции) это артефакт, операциональный протез, абстрактная матрица, которой смогут воспользоваться, и более не посредством репродукции, а при помощи чистого и простого *продления срока действия*, идентичные существа, подписанные на одни и те же команды.

«Мое генетическое наследие было раз и навсегда определено в тот момент, когда некий сперматозоид встретил некую яйцеклетку. Данное наследие содержит рецепт всех биохимических процессов, которые реализовали меня и обеспечивают мое функционирование. Копия этого рецепта вписана в каждую из десятков миллиардов клеток, которые составляют меня сегодня. Каждая из них знает, как меня фабриковать; прежде чем стать клеткой моей печени или крови, она является клеткой меня. Так, теоретически возможно произвести индивида, идентичного мне, из одной из них». (Профессор А. Жакар).

Клонирование, таким образом, представляет последнюю стадию в истории моделирования тела, стадию, в которой индивид, сведенный к своей абстрактной и генетической формуле, обречен на серийное размножение. Необходимо вспомнить здесь о том, что Уолтер Бенджамин говорил о производстве искусства в эпоху его технической воспроизводимости. То, что потеряно в серийно воспроизводимом производстве, так это его аура, единичное качество здесь и сейчас, его эстетическая форма (оно уже раньше потеряло свою ритуальную форму в эстетическом качестве), и в своей неотвратимой судьбе воспроизводства оно приобретает, согласно

⁷⁹ Примеч. переводчика. Протез, с греческого prosthesis — приложение, прибавление.

Бенджамину, *политическую* форму. Что потеряно, так это оригинал, который способна воссоздать в качестве «аутентичного» лишь история, сама являясь ностальгической и ретроспективной. Самой продвинутой, самой современной формой этого развития, описанной также в кино, в фотографии, и современных масс-медиа, является та форма, в которой оригинал даже уже больше и не имеет место, так как вещи изначально задуманы с функцией их безграничной репродукции.

Это именно то, что происходит с нами отныне не только на уровне сообщений, но и на уровне индивидов в случае с клонированием. В действительности, это то, что происходит с телом, поскольку оно само задумано отныне только как сообщение, как склад информации и сообщений, как информатическая субстанция. Таким образом, ничто не противопоставляется его серийной репродуцируемости в тех же понятиях, которыми пользуется Бенджамин для индустриальных объектов и масс-медийных образов. Имеет место прецедент репродукции самой продукции, прецедент генетической модели всем возможным телам. Именно вторжение технологии руководит подобным опрокидыванием, технологии, которую Бенджамин уже описывал в своих крайних последствиях как тотальный медиум, но еще в индустриальную эпоху – гигантский протез, который управлял поколением идентичных объектов и образов, ничем неотличимых друг от друга – не замышляя еще современного углубления этой технологии, делающей возможным поколение идентичных существ, без возврата когда-либо к существу оригинальному. Протезы индустриального века еще внешние, экзотехнические, те, которые знакомы нам, разветвлены и интериоризированы: *эзотехнические*. Мы живем в век мягких технологий, генетического и ментального software⁸⁰.

Пока протезы старого золотого индустриального века были механическими, они еще обращались к телу, чтобы модифицировать из него

⁸⁰ Примеч. переводчика. С англ.яз. программное обеспечение.

образ – они сами, обратимо, были обращены в воображаемое, и этот технологический метаболизм также являлся частью образа тела. Но когда достигается точка невозможного возврата (dead-line) в симуляции, то есть, когда протез углубляется, интериоризируется, проникает в анонимное и микромолекулярное сердце тела, как только он противопоставляется телу даже как «оригинальная» модель, сжигая все последующие символические пути, любое возможное тело является при этом лишь его незыблемым повторением, тогда наступает конец тела, его истории, и его перипетий. Индивид теперь не более, чем раковый метастаз собственной базовой формулы. Все индивиды, появившиеся посредством клонирования из индивида X, являются ли они чем-то еще кроме ракового метастаза – пролиферацией одной и той же клетки, такой, какую можно видеть в раковой болезни? Существует тесная связь между основной идеей генетического кода и патологией рака: код обозначает наименьший элемент, минимальную формулу, к которой можно свести целого индивида, и такого, который способен воспроизводиться только идентичным самому себе. Рак означает пролиферацию базовой клетки до бесконечности, не принимая во внимание органические законы единства. Так же происходит в клонировании: ничто более не противопоставляется продлению Того же самого, беспрестанной пролиферации единственной матрицы. Когда-то сексуальное производство еще противопоставлялось этому, сегодня можно наконец изолировать генетическую матрицу идентичности, и возможно уничтожить все дифференциальные перипетии, которые составляли случайный шарм индивидуумов.

Если все клетки изначально задуманы как средоточие одной и той же генетической формулы, то чем еще они являются – не только идентичные индивиды, но все клетки одного и того же индивида – как не раковым разрастанием этой основной формулы? Метастаз, начатый с индустриальных объектов, заканчивается в клеточной организации. Бесполезно спрашивать

себя, является ли рак болезнью капиталистической эры. В действительности это болезнь, управляющая всей современной патологией, потому что она сама есть форма вирулентности кода: обостренное излишество одних и тех же знаков, обостренное излишество одних и тех же клеток.

Сцена тела изменяется на протяжении необратимой технологической «прогрессии»: от солнечного загара, который уже соответствует искусственному использованию натуральной среды, то есть, созданию из него протеза тела (сам он становится симулированным телом, но где она, истина тела?) – к домашнему загару при помощи иодной лампы (еще старая добрая механическая техника) – к загару при помощи пилюль и гормонов (химический и вводимый в желудок протез) – и, наконец, к загару вмешательством в генетическую формулу (несравнимо более продвинутая стадия, но все-таки протез: просто он окончательно интегрирован, он даже не проходит больше, ни через поверхность, ни через отверстия в теле), а происходит от различных тел. Метаморфозы произошли со схемой всего ансамбля. Традиционный протез, служащий восстановлению отказавшего органа, не меняет ничего в основной модели тела. Трансплантация органов относится все еще к этому порядку. Но что сказать о ментальном моделировании при помощи психотропных веществ и наркотиков? *Сцена тела* здесь уже изменена. Психотропное тело это тело смоделированное «изнутри», не проходя больше через перспективное пространство репрезентации, зеркала и дискурса. Тело молчаливое, ментальное, уже молекулярное (и больше не зеркальное), напрямую метаболизированное тело, лишённое посреднического акта или взгляда, имманентное тело, без отличий, без мизансцены, без трансценденции, тело, обреченное на импозивные метаболизмы церебральных, эндокринных выделений, сенсорное тело, но не чувствительное, поскольку подключенное лишь к собственным внутренним терминалам, а не к объектам перцепции (по этой причине его можно заключить в «белую», нулевую сенсорность, достаточно отключить его от

собственных сенсорных пределов, не касаясь окружающего мира), уже гомогенное тело, на этой стадии тактильной приспособляемости, ментальной гибкости, психотропности со всех сторон, близкое уже к ядерной и генетической манипуляции, то есть, к абсолютной потере образа, тела без возможной репрезентации, ни в отношении других, ни в отношении самих себя, тела, лишённые собственного существования и смысла преобразованием генетической формулы или биохимическим влиянием до степени невозврата, апофеоз технологии, которая сама стала интерстициальной и молекулярной.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо иметь в виду, что раковая пролиферация это также молчаливое неповиновение предписаниям генетического кода. Рак, если он подчиняется логике ядерного информационного видения живых существ, также является его чудовищным разращением и отрицанием, поскольку ведет к тотальной дезинформации и распаду. «Революционная» патология органического разъединения, сказал бы Ришар Пинас, in: Fictions («Синоптические заметки по поводу таинственного зла») Энтропийный психоз организмов, противостоящий негэнтропии информационных систем. (Все та же ситуация, что и с массами визави с социальными структурированными формациями: массы также являются раковыми метастазами за пределами всякой социальной организованности).

Та же двусмысленность и в случае с клонированием: оно одновременно является и триумфом главной гипотезы, гипотезы кода и генетической информации, и эксцентричной дисторсией, разрушающей их связь. Впрочем, вероятно (но это оставлено будущей истории), что даже «клонированный близнец» никогда не будет идентичен своему производителю, никогда не будет тем же, не потому ли это, что до него будет еще один. Он никогда не будет «таким, каким его в самом себе изменит генетический код». Тысячи интерференций сделают из него, несмотря ни на что, иное существо, у которого в точности будут такие же голубые глаза как и у его отца, то, что не является новым. И экспериментирование с клонированием, вероятно, по крайней мере, будет обладать преимуществом продемонстрировать радикальную невозможность взять под контроль процесс только при помощи контроля над информацией и кодом.

Голограммы

Фантазм о том, чтобы схватить живую реальность продолжается – с тех пор как Нарцисс склонился над источником. Застигнуть реальное, чтобы остановить его, отложить реальное на срок его двойника. Вы склоняетесь над голограммой, словно Бог над своим творением: только Бог обладает этой властью проходить сквозь стены, сквозь существа, и снова оказываться бестелесно по ту сторону. Мы мечтаем пройти сквозь нас самих и оказаться по ту сторону: в тот день, когда ваш голографический двойник будет там, в пространстве, предположительно двигающийся и говорящий, вы реализуете это чудо. Конечно, это больше не будет мечтой, и шарм потеряется.

Телестудия трансформирует вас в голографических персонажей: создается впечатление, будто вас материализовали в пространстве при помощи света прожекторов, как прозрачных персонажей, пересекаемых массой (массой миллионов телезрителей), в точности так же как ваша рука без сопротивления пересекает нереальную голограмму – но не без последствия: то, что она прошла через голограмму, сделало ее самой такой же нереальной.

Галлюцинация тотальна и действительно ослепительна, как только голограмма проецируется на передней части щита так, что ничто вас от нее не отделяет (в противном случае эффект остается фото- или кинематографическим). Это также характеристика оптического обмана зрения, в отличие от живописи: вместо поля точки зрения, вы находитесь в инвертированной глубине, трансформирующей вас самих в точку схода... Необходимо, чтобы рельеф вам бросался в глаза, как в случае с вагоном трамвая и игры в шахматы. Это говорит о том, что остается найти, какой тип объектов или форм будут «гологеничны», так как голограмма больше не

предназначена для того, чтобы производить трехмерное кино, как кино не имело целью воспроизводить театр, или фотография – передавать содержания живописи.

В голограмме, как и в истории клонов, безжалостно вытравлена воображаемая аура двойника. Подобие – это мечта и должно ей оставаться, для того, чтобы могла существовать минимальная иллюзия и сцена воображаемого. Никогда не нужно становиться на сторону реального, на сторону точного сходства мира с самим собой, субъекта с самим собой. Поскольку, тогда исчезает образ. Никогда не нужно становиться на сторону двойника, поскольку, тогда исчезает дуальное отношение, а вместе с ним – весь соблазн. Однако с голограммой, как и с клоном, имеет место обратное искушение, и обратное ослепление, конца иллюзии, сцены, тайны, посредством материализованного отображения всей информации располагаемой о субъекте, посредством материализованной прозрачности.

После фантазма увидеть себя (зеркало, фотография) появляется фантазм осуществить обзор самого себя, наконец и в особенности, пересечь себя, пройти сквозь собственное спектральное тело – и любой голографический объект изначально является светящейся эктоплазмой вашего собственного тела. Но все это в какой-то мере означает коней эстетики и триумф медиума, в точности, как в стереофонии, которая в возвышенных целях, кладет в сущности конец шарму и утонченности музыки.

Голограмма как раз не обладает способностью оптической иллюзии, которая и является соблазном, постоянно действовать, согласно правилу видимости, аллюзией и опущением присутствия. Она погружает, наоборот, в ослепление, гипнотическое желание встать на сторону двойника. Если вселенная есть то, что, согласно Маху, не имеет двойника, не обладает эквивалентом в зеркале, тогда мы уже находимся, с голограммой, виртуально

в другой вселенной; которая является лишь зеркальным эквивалентом этой вселенной. Но какая из них эта?

Голограмма, та, о которой мы всегда уже мечтали (но все эти являются лишь ее бедной подделкой), придает волнение, головокружительное желание пройти по ту сторону нашего собственного тела, встать на сторону двойника, светящегося клона, или мертвого близнеца, никогда не рождавшегося на нашем месте, и заранее за нами наблюдает.

Голограмма, совершенный образ и конец воображаемого. Или скорее, это больше совсем не образ – настоящий медиум это лазер, концентрированный утонченный свет, больше не видимый и отражающий, а абстрактный свет симуляции. Лазер/скальпель. Светящаяся хирургия, чьей операцией здесь является операция двойника: оперируется ваш двойник, как если бы вам удаляли опухоль. Его, кто скрывался в глубине вас (вашего тела, вашего бессознательного), и чья тайная форма питала как раз ваше воображаемое, при условии остаться тайной, его извлекают лазером, синтезируют и материализуют перед вами, так, что вы теперь можете пройти его насквозь. Исторический момент: голограмма отныне является частью этого «подсознательного комфорта», нашей судьбы, этого счастья, отныне посвященного ментальному симулякру и окружающей феерии спецэффектов. (Социальное, социальная фантазмагория сама отныне есть не что иное, как спецэффект, полученный дизайном лучей участия, сходящихся в пустоте в одну спектральную картинку коллективного счастья).

Трехмерность симулякра – почему трехмерный симулякр должен быть более близок к реальности, чем симулякр двухмерный? Он считает себя таковым, но его эффект, парадоксальный, заключается в том, чтобы, наоборот, дать нам почувствовать четвертое измерение в качестве скрытой истины, тайное измерение любой вещи, которое внезапно обретает силу

очевидности. Чем больше мы приближаемся к совершенству симулякра (и это верно в отношении объектов, но также и в отношении образов искусства или моделей социальных и психологических отношений), тем больше появляется со всей очевидностью (или скорее по воле злого гения недоверчивости, живущего в нас, еще более злого, чем злой гений симуляции) то, из-за чего любая вещь ускользает от репрезентации, ускользает от своего собственного двойника и своего подобия. Короче говоря, реального нет: третье измерение это лишь воображаемое двухмерного мира, четвертое – это измерение трехмерного мира... Восхождение в производстве реального все более и более реального пропорционально добавлению последовательных измерений. Но восторженность происходит от обратного: единственно истинно то, по-настоящему соблазнительно то, что вступает в игру с меньшим измерением.

В любом случае, эта гонка за реальным и за реалистичной галлюцинацией безысходна, поскольку, когда один объект в точности похож на другой, *он не является им в точности, он является им немного больше*. Никогда не бывает подобия, не более чем существует точность. То, что точно, уже является слишком точным, единственно точно то, что приближается к истине, не претендуя на нее. Это немного относится к тому же парадоксальному порядку, что и формула, говорящая, что когда два бильярдных шара катятся друг к другу, первый касается другого раньше, чем второй, или так: один касается другого до того, как его коснется другой. Что говорит о том, что не существует даже одновременности в порядке времени, и таким же образом, не существует сходства в порядке образов. Ничто не похоже одно на другое, и голографическая репродукция, как и любое поползновение синтеза или точного воскрешения реального (это относится даже к научному экспериментированию) уже больше не реальна, она уже *гиперреальна*. Она никогда и не обладает ценностью воспроизводства (истины), но уже всегда симуляции. Не точной истины, но уже запредельной,

то есть уже истины по ту сторону. Что происходит по другую сторону истины, и не в том, что было бы ложным, а в том, что более истинно, чем само истинное, более реально, чем реальное? Несомненно, эффекты необычные, и кощунственные, гораздо более разрушительные для порядка истины, чем ее чистое отрицание. Единичная мощь и убийственная для потенциализации истинного, потенциализации реального. Вот почему, вполне возможно, близнецы обожествлялись, и приносились в жертву, далеко не в одной дикой культуре: гиперсходство приравнивалось к убийству оригинала, и таким образом, к чистой бессмыслице. Любая классификация, любое значение, любая модальность смысла может таким образом быть разрушена простым логическим возведением к степени X – доведена до предела, подобно тому, как если бы неважно какая истина проглатывала бы свой собственный критерий истины, так же как «проглатывают свое собственное свидетельство о рождении»⁸¹, и теряла бы весь свой смысл: так, вес земли, или вселенной, может быть потенциально подсчитан в точных величинах, но он немедленно становится абсурдным, поскольку сразу теряет референцию, зеркало, в котором можно отражаться – эта тотализация, которая равнозначна тотализациям всех измерений реального в его гиперреальном дубликате, или тотализациям всей информации об индивидуе в его генетическом двойнике (клоне), немедленно делает его патафизическим. Сама вселенная, взятая глобально, есть то, чья репрезентация невозможна, невозможно добавление в потенциальном зеркале, невозможна эквивалентность смысла (абсурдно также придавать ей какой-либо смысл, вес смыслу, не более чем просто вес). Смысл, истина, реальное могут появляться только локально, в ограниченном горизонте, это частичные объекты, частичные эффекты зеркала и эквивалентности. Любое удваивание, любое обобщение, любой переход к границе, любое голографическое

⁸¹ Примеч. переводчика. Сложность перевода заключается в использованной в оригинале игре слов. Выражение *avalier son bulletin de naissance*, дословно как «проглотить свое свидетельство о рождении» означает на разговорном языке – умереть; по аналогии, автором употребляется выражение *avalier son critère de naissance*, дословно «проглотить собственный критерий истины», вероятно со значением поглотить себя, самоуничтожиться и т.д.

протяжение (робкая попытка исчерпывающе дать отчет о вселенной) превращает их в насмешку.

Под этим углом зрения, даже точные науки опасно приближаются к патафизике. Так как они похожи в чем-то на голограмму и обладают объективистским поползновением деконструкции и точной реконструкции мира, в своих наименьших терминах, основанной на стойкой и наивной вере в некое соглашение подобия вещей самим себе. Реальное, реальный объект полагается быть равным самому себе, он полагается быть похожим на себя как лицо в зеркале – и это виртуальное подобие является в действительности единственной дефиницией реального – и любая попытка, голографическая попытка, опирающаяся на него, может только потерять свой объект, потому что она не осознает собственную тень (то, благодаря чему он как раз не похож на себя), это скрытое лицо, в котором объект разрушается, свою тайну. Она буквально перепрыгивает через свою тень, и погружается в прозрачность, дабы исчезнуть там самой.

В классической перспективе (даже кибернетической), технология это продолжение тела. Она есть функциональное усложнение человеческого организма, которое позволяет последнему приравнять себя к природе, и с триумфом его инвестировать. От Маркса до Маклюэна, то же инструменталистское видение машин и языка: это замены, продолжения, медиа-медиаторы природы, идеально предназначенной для того, чтобы стать органическим телом человека. В этой «рациональной» перспективе, само тело есть не что иное, как медиум.

В противоположность этому, в барочной и апокалипсической версии Crash⁸³, техника это смертельная деконструкция тела – более не функциональный медиум, а протяженность смерти, – расчленение и дробление, не в пренебрежительной иллюзии потерянного единства сюжета (который представляет еще горизонт психоанализа), но во взрывоопасном видении тела, обреченного на «символические раны», тела, смешанного с технологией в его измерении насилия и жестокости, в дикой и непрерывной хирургии, которую она осуществляет: разрезы, вырезания, насечки, зияния тела, чьи «сексуальные» раны и наслаждение лишь частный случай (и машинальное порабощение в работе, умиротворенная карикатура) – тело без органов, и без наслаждения органов, всецело подчиненное отметине, разрезанию, техническому шраму – под лучезарным знаком сексуальности, лишенной референта и границ.

⁸² Примеч. переводчика. Crash – название романа Джеймса Грэма Балларда «Автокатастрофа».

⁸³ Ж.Г. Баллард, Crash, Париж, Calmann-Levy, 1974.

Ее смерть и изувечение превращались милостью потрясающей технологии в прославление каждого ее члена, каждой черты ее лица, частички ее кожи и положений ее тела... Каждый из зрителей в этом театре аварии унес бы с собой образ жестокой трансфигурации этой женщины, сетки ран, в которой запутались ее сексуальность и жесткая наука автомобиля. Каждый из зрителей объединит в своем воображении нежную ткань своих слизистых оболочек, свои эрогенные ткани с ранами этой женщины, прочувствовав все – посредством автомобиля – через последовательность стилизованных поз. Каждый прижмется бы губами к этим окровавленным прорезям, [...] прижал бы к своим векам разорванные сухожилия указательного пальца, потерся бы уздечкой своего члена о вздутые стенки влагалища. Автомобильная авария сделала, наконец, возможным это долгожданное соединение звезды и публики. (С. 215).

Техника может быть схвачена только в аварии (автомобильной), то есть, в жестокости, причиненной ей самой и в жестокости, причиненной телу. Она одна и та же: весь шок, все столкновение, весь удар, вся металлургия аварии читается в семиургии тела – не в анатомии или физиологии. Но в семиургии ушибов, шрамов, изувечений, ран, которые есть не что иное, как многочисленные новые половые органы, открытые на теле. Так компиляции тела как рабочей силы порядка производства, противопоставляется дисперсия тела как анаграмма порядка изувечения. Конец «эрогенным зонам»: все становится дырой для того, чтобы предаться рефлексивной эякуляции. Но в особенности (как в пытке обряда инициации, которая не является нашей), все тело становится знаком, чтобы предаться обмену знаков тела. Тело и техника преломляются одно в другом посредством их растерявшихся знаков. Плотская и дизайнерская абстракция.

Никакого аффекта за всем этим, никакой психологии, ни импульса, ни желания, никакого либидо, ни стремления к смерти. Смерть естественно имплицирована в безграничное исследование возможной жестокости по отношению к телу, но никогда как в садизме или мазохизме, поспешное и перверсивное намерение жестокости, искривление смысла и секса (по отношению к чему?). Никакого вытесненного бессознательного (аффектов или репрезентаций), если только не во втором прочтении, которое снова включило бы туда еще больше вынужденного смысла, по психоаналитической модели. Бессмыслица, дикость этой мешанины тела и техники имманентна, она есть немедленная реверсия одной в другое, и результатом этого является беспрецедентная сексуальность – что-то вроде потенциального головокружения, связанного с чистым написанием нулевых знаков этого тела. Символический ритуал насечек и меток, как в граффити метро Нью-Йорка.

Другая общая точка: нет больше ничего общего, в *Crash*, со знаками аварии, которые могли бы появиться только за пределами системы. Несчастный случай это больше не промежуточная поделка, которой он является в дорожной аварии – остаточная поделка бессознательного стремления к смерти для нового класса досуга. Автомобиль это не придаток домашнего неподвижного универсума, нет больше личного и домашнего универсума, отныне только непрерывные фигуры циркуляции, и Автокатастрофа повсюду, элементарная, необратимая фигура, банальность аномалии смерти. Она больше не за пределами, она в самом сердце. Она больше не исключение триумфальной рациональности, она стала Правилom, она поглотила Правило. Она даже больше не «проклятая часть», та, что предоставлена судьбе самой системой, и включена в ее общий подсчет. Все обратилось. Именно Автокатастрофа придает жизни форму, именно она, бессмыслица, является *сексом жизни*. И автомобиль, магнетическая сфера автомобиля, который, в конце концов, облакает целую вселенную своими

туннелями, автодорогами, трассами, развязками, своим мобильным жилищем как универсальным прототипом, есть не что иное, как ее безмерная метафора.

Больше никакой возможной дисфункции в универсуме автокатастрофы – значит, никакой перверсии тем более. Автокатастрофа как смерть больше не относится к порядку невротического, вытесненного, отброшенного или трансгрессивного, она инициирует новую манеру наслаждения, *не перверсивную* (вопреки самому автору, который во введении говорит о новой извращенной логике, необходимо противостоять *моральной* попытке читать *Crash* как перверсию), стратегическую реорганизацию жизни, исходя из смерти. Смерть, раны, изувечения это больше не метафоры кастрации, как раз наоборот – даже больше не наоборот. Единственно перверсивна фетишистская метафора, соблазн моделью, вспомогательным фетишем, или посредничеством языка. Здесь смерть и секс считываются прямо с тела, без фантазма, без метафоры, без фразы – в отличие от Машины *Пенитенциарной Колонии*, где тело, в его ранах, еще является лишь опорой текстуального написания. Так, одна из них, машина Кафки, еще является пуританской, репрессивной, «означающей машина», как сказал бы Делез, тогда как технология *Crash*, искрящаяся, соблазнительная, или матовая и невинная. Соблазнительная, потому что лишена смысла, как простое зеркало разорванных тел. И тело Вогана является, в свою очередь, зеркалом искривленных хромированных деталей, измятых крыльев автомобиля, железа, испачканного спермой. Тело и железо, перемешанные, соблазненные, неразъединимые.

Воган свернул в сторону площадки станции-сервиса, чья неоновая вывеска освещала слабым красным светом эти фотографии, изображавшие чудовищные раны: груди девушек-подростков, деформированные приборной доской, частичные удаления груди... соски, рассеченные аббревиатурой

изготовителя, украшающей приборную доску, генитальные раны, причиненные трубой карданного вала, ветровым стеклом (во время извержения)... Фотографии изувеченных пенисов, глубоко порезанных вульв и раздавленных яичек чередой проходили передо мной в резком свете неона... Многие из этих документов были дополнены репродукцией крупным планом механического или декоративного элемента, который стал причиной раны. Фотография раздвоенного пениса сопровождалась вкладышем, изображавшим ручной тормоз. Над крупным планом изорванной вульвы можно было увидеть изображение втулки руля, украшенного эмблемой изготовителя. Эти встречи разорванных гениталий и частей машины или приборной доски образовывали волнующие модули, финансовые единства новой циркуляции боли и наслаждения. (С. 155).

Каждая метка, каждый след, каждый оставленный на теле шрам это как искусственная инвагинация, таковы ритуальные надрезы на коже в диких племенах, которые всегда являются горячим ответом на отсутствие тела. Единственно раненое тело существует символически – для себя и для других – «сексуальное» желание это всегда лишь подобная возможность, которой обладают тела, возможность смешивать и обмениваться своими знаками. Однако несколько естественных отверстий, с которыми принято связывать секс и сексуальную активность ничто рядом со всеми этими возможными ранами, со всеми искусственными отверстиями (но почему «искусственными?»), со всеми дырами, из которых тело самообращается, и как некоторые топологические пространства, не знает больше, ни внутреннего, ни внешнего. Секс, такой, каким мы его себе мыслим, не более чем ничтожная и специализированная дефиниция всех символических и жертвенных практик, которым может открыться тело, более не природой, но искусственностью, симулякром, автокатастрофой. Секс есть не более чем этот возрастающий недостаток бессознательного стремления, названного

желанием, к заранее подготовленным зонам. Он далеко превзойден богатым набором символических ран, являющимся в каком-то роде анаграмматизацией секса по всему пространству тела – но тогда, по правде говоря, это уже не секс, это нечто другое, а секс это лишь написание одного привилегированного означающего и нескольких вторичных знаков – ничто рядом с обменом всеми знаками и ранами, на который способно тело. Дикари умели с этой целью использовать все тело, в татуаже, в телесном наказании, в инициации. Сексуальность была лишь одной из возможных метафор символического обмена, ни самой значимой, ни самой престижной – каковой она стала для нас в ее реалистичной и навязчивой референции, посредством органического и функционального принятия (включая наслаждение).

Тогда, когда мы в первый раз ехали где-то 40 км/час, Воган вытащил свои пальцы из отверстий девушки и, поворачиваясь на бедрах, проник в нее. Фары автомобилей, спускавшихся по трассе, сверкали перед нами. В зеркале заднего видения я продолжал видеть Вогана и девушку. Их тела, освещенные прожекторами машины, следовавшей за нами, отражались на черном кузове линкольна и различных хромированных деталях интерьера. Отражение левой груди девушки, с ее вздернутым соском, колебалось на пепельнице. Деформированные сегменты ягодич Вогана составляли вместе с животом его партнерши любопытную анатомическую фигуру на блестящих полосках рамы окна. Воган поместил девушку на четвереньках над собой, и снова, его пенис проник в нее. Их сексуальный акт отражался в триптихе на сверкающих циферблатах спидометра, часов и тахометра... Машина шла со скоростью 80 км/час по склону трассы. Воган изгибал спину и выставлял тело девушки на свет фар позади нас. Заостренные груди освещались в коробке из стекла и хрома автомобиля, набравшего скорость. Необузданные конвульсии тазового пояса Вогана совпадали со сверкающими

огнями фонарей, установленных каждые сто метров на обочине дороги... Его пенис утопал в вагине, его руки раздвигали ягодицы и открывали анус в желтом отсвете, наводнявшем салон. (С. 164).

Здесь, все эротические термины техничны. Никакой задницы, конца, члена, но: анус, прямая кишка, вульва, пенис, коитус. Никакого арго, то есть, никакой интимности сексуального насилия, но функциональный язык: точное соответствие хрома и слизистых оболочек как одной формы другой. То же самое в отношении совпадения секса и смерти: они скорее смешиваются вместе в чем-то вроде технического супер-дизайна, чем артикулируются согласно наслаждению. Впрочем, вопрос не в наслаждении, а в простом и чистом извержении. А коитус и сперма, появляющиеся на протяжении книги, обладают чувственной ценностью не больше, чем филигранность ран жестоким смыслом, даже метафоричным. Это лишь подписи – в финальной сцене, X ставит печать своей спермой на обломках колымаг.

Наслаждение (извращенное или нет) всегда было опосредовано техническим аппаратом, механикой, реальными объектами, но чаще всего фантазмами – оно всегда имплицитно посредническую манипуляцию сценами и забавными штучками. Здесь, наслаждение это только оргазм, то есть оно смешано на одной длине волн с жестокостью аппарата, технического и гомогенизированного единственной техникой, которая укладывается в единственный объект: автомобиль.

Мы попали в огромную пробку. От пересечения автострады с Западной Авеню до въезда на эстакаду все полосы были забиты машинами. Лобовые стекла источали переплавленные лучи солнца, зависшего над западными окраинами Лондона. В вечернем воздухе мерцали габаритные огни, озаряя колоссальный водоем лакированных тел. Воган сидел, выставив

руку из пассажирского окна. Он нетерпеливо щелкал дверной ручкой, постукивал по кузову кулаком. Справа от нас нависала обрывом человеческих лиц высокая стена двухэтажного автобуса, ехавшего из аэропорта. Пассажиры в окнах напоминали ряды мертвецов, уставившихся на нас из галереи колумбария. Колоссальная энергия двадцатого века, достаточная для того, чтобы переместить планету на новую орбиту вокруг более счастливой звезды, была направлена на поддержание этой грандиозной неподвижной паузы. (С. 173).

Вокруг меня, на протяжении всей Западной Авеню, по всем уголкам развязки, огромная пробка, спровоцированная аварией, простиралась, исчезая из виду. И я, стоя в центре этого замороженного циклона, ощущал себя абсолютно спокойно, как будто меня, наконец, избавили от всех этих навязчивых идей, касавшихся этих бесконечно размножавшихся автомобилей. (С. 178).

Тем не менее, некое другое измерение неотделимо в Crash от измерений, смешанных с технологией и сексом (соединенных в работу смерти, никогда не совпадающую с траурной работой): это измерение фотографии и кино. Блестящая и пресыщенная поверхность движения и аварии не имеет глубины, но она всегда удваивается в объективе камеры Вогана. Он складывает и тезаврирует словно карточки с данными о внешности личности фотографии аварий. Генеральная репетиция решающего события, которое он подготавливает (его автомобильная смерть и одновременная смерть звезды в столкновении с Элизабет Тейлор, столкновении, педантично симулированном и подготавливаемом в течение месяцев) происходит с момента начала видеосъемки. Этот универсум был бы ничем без этого гиперреалистического нарушения. Одно лишь удваивание, одно лишь разворачивание визуального медиума во второй степени, может оперировать слиянием технологии, секса и смерти. Но в действительности,

фотография здесь не является медиумом, и даже не относится к порядку репрезентации. Речь не идет о «дополнительной» абстракции образа, ни о зрелищном принуждении, и позиция Вогана совершенно не является позицией вуайериста или извращенца. Фотографическая пленка (как транзисторная музыка в автомобилях и квартирах) является частью универсальной пленки, гиперреальной, металлизированной и телесной, пленкой циркуляции и потоков. Фотография является медиумом не более чем техника или тело – все одновременны, в универсуме, где антиципация события совпадает с его воспроизводством, даже с его «реальным» производством. Тем более никакой глубины во времени – все словно прошлое, будущее в свою очередь прекращает существовать. В действительности именно око камеры заменило время, так же как все остальное заменила иная глубина, глубина аффекта, пространства, языка. Оно не представляет другое измерение, оно просто означает, что этот универсум лишился тайны.

Манекен был хорошо усажен сзади, его подбородок был приподнят воздуховодом. Его руки были привязаны к приборам управления, словно руки камикадзе. Торс был покрыт датчиками. Напротив, такие же безразличные, как и он, четыре манекена – семья – ждали в машине. На их лицах были нарисованы эзотерические знаки.

Раздался неожиданный удар хлыста: разворачивающиеся провода датчиков, скользили по траве рядом с рельсами. В металлической вспышке мотоцикл врезался в переднюю часть машины. Два приспособления отнесло к первому ряду ошеломленных зрителей. Мотоцикл и пилот взлетели на капот, ударившись в лобовое стекло, затем протанцевала на крышу оглушительная черная масса. Машина отскочила назад на три метра, закончив свой пробег поперек рельсов. Капот, ветровое стекло и крыша

были измяты. Внутри, были вперемешку раскиданы все члены семьи. Рассеченное тело женщины торчало из пробитого ветрового стекла... Осколки стекла, смешанные с обломками лица и плеч манекена, усыпали серебряным снегом траву вокруг испытательной машины – конфетти смерти. Елена подхватила меня под руку, как это делают, чтобы помочь ребенку побороть умственное напряжение. «Мы можем все снова посмотреть по системе Ампекс. Они покажут аварию в замедленном темпе». (С. 145).

В *Crash* все гиперфункционально, поскольку движение и авария, техника и смерть, секс и симуляция являются единой синхронной машиной. Это тот же универсум, что и гипермаркет, где товар становится «гипертоваром», то есть он также всегда уже воспринят, как и вся атмосфера вокруг, в непрерывных фигурах циркуляции. Но, в то же время, функционализм *Crash* поглощает свою собственную рациональность, потому что ему больше не знакома дисфункция. Это радикальный функционализм, который достигает свои парадоксальные границы и сжигает их. Он снова внезапно становится неопределимым объектом, и значит завораживающим. Ни хорошим, ни плохим: амбивалентным. Как и смерть или мода, он снова внезапно становится *помехой*, тогда как старый добрый функционализм, даже спорный, больше таковым совсем не является – то есть это путь, ведущий быстрее, чем главная дорога, или ведущий туда, куда главная дорога вовсе не ведет, или еще лучше, и чтобы спародировать Литтре на патафизический манер, «путь, не ведущий никуда, но ведущий туда быстрее, чем все остальные».

Это то, что отличает *Crash* от всей научной фантастики или почти, которая крутится еще, большую часть времени, вокруг старой пары функция/дисфункция, которую она проектирует в будущее согласно тем же

силовым линиям и тем же финальностям, относящимся к нормальной вселенной. Функция там выходит за границы реальности (или наоборот), но согласно тому же правилу игры. В *Crash*, больше никакой фикции или реальности, и та, и другая уничтожаются гиперреальностью. Даже никакой возможной критической регрессии. Этот мутирующий и коммутирующий мир симуляции и смерти, этот мир с жесткой сексуальностью, но без желания, полный изнасилованных и жестоких, но словно нейтрализованных тел, этот хроматический и интенсивно металлический, но лишенный чувственности мир, гипертехнический мир без финальности – хорош он или плох? Мы никогда об этом ничего не узнаем. Он просто ослепителен, но без того, чтобы эта ослепительность имплицировала ценностное суждение. В этом чудо *Crash*. Нигде не обнажается этот моральный взгляд, критическое суждение, которое еще является частью функциональности старого мира. *Crash* гиперкритичен (все это так же против воли самого автора, который во введении говорит о «предваряющей функции, о предостережении от этого жестокого мира с яркими отблесками, который настойчиво просит нас образом, все еще более умоляющим, на затворках технологического пейзажа»). Немногие книги, немногие фильмы достигают подобного решения любой финальности или критической негативности, подобного тусклого блеска банальности или жестокости. *Нэшвилл, Заводной апельсин*.

После Борхеса, но в ином ракурсе, *Crash* это первый большой роман о вселенной симуляции, той, с которой отныне мы повсюду будем сталкиваться – символической вселенной, но которая, неким возвратом к масс-медиазированной субстанции (неон, бетон, машина, эротическая механика) появляется, словно пронизанная интенсивной силой инициации.

Последняя машина скорой помощи удалилась под вой сирен. Люди вернулись к своим машинам. Мимо нас прошла девушка в джинсах. Парень,

сопровождаящий ее, обнял ее за талию и гладил ее правую грудь, потирая пальцами сосок. Оба сели в кабриолет, чей кузов, покрашенный в желтый цвет, был покрыт автонаклейками ... Интенсивный аромат сексуальности витал в воздухе. Мы были членами некой конгрегации, выходящей из святилища после проповеди, которая предписывала нам предаться, друзьям и незнакомцам, широкому сексуальному празднеству. Мы ехали в ночи, дабы воссоздать с самыми неожиданными партнерами тайну кровавой евхаристии, на которой мы только что присутствовали. (С. 179).

Симулякры и научная фантастика

Три порядка симулякров:

– натуральные симулякры, натуралистические, основанные на образе, имитации и подделке, гармоничные, оптимистичные, и направленные на восстановление или идеальное основание природы по Божественному подобию,

–продуктивные симулякры, направленные на повышение производительности, основанные на энергии, силе, материализации посредством машины и во всей системе производства – прометеева цель глобализации и непрерывной экспансии, высвобождения бесконечной энергии (желание является частью утопий, относящихся к этому порядку симулякров),

– симулякры симуляции, основанные на информации, модели, кибернетической игре – тотальной операциональности, гиперреальности, нацеленной на тотальный контроль.

Первому порядку отвечает воображаемое *утопии*. Второму соответствует научная фантастика собственно говоря. Третьему соответствует – существует ли еще воображаемое, отвечающее данному порядку? Возможный ответ состоит в том, что старое доброе научно-фантастическое воображаемое умерло, и что нечто другое уже находится в процессе возникновения (и не только в романическом, но также в теории). Та же судьба колебания и индетерминации кладет конец научной фантастике – но также и теории, как специфическим жанрам.

Реальное существует, воображаемое существует, но на некоторой дистанции. Что происходит, когда эта дистанция, включая дистанцию между

реальным и воображаемым, стремится уничтожить себя, подвергнуться резорбции только в пользу модели? Однако, от одного порядка симулякров к другому, наблюдается тенденция поглощения этой дистанции, этого промежутка, оставляющего место идеальной или критической проекции.

– Она максимальна в утопии, где рисуется трансцендентная сфера, универсум радикально отличный (романтическая мечта еще является ее индивидуализированной формой, где трансценденция рисуется глубоко, доходя до бессознательных структур, но в любом случае, размыкание с реальным миром максимально, это остров утопии, противопоставленный континенту реального).

– Она значительно сокращается в научной фантастике: которая зачастую есть не что иное, как чрезмерная *проекция*, но качественно не отличная от реального мира производства. Механические или энергетические эффекты, скорости или мощь переходят в ранг мощности n , но схемы и сценарии это все те же сценарии механики, металлургии и т.д. Проективная ипостась робота. (Ограниченному универсуму пред-индустриальной эры утопия противопоставляла альтернативный идеальный универсум. В потенциально бесконечном универсуме производства, научная фантастика *преумножает* свои собственные возможности.

– Она тотально подвергается резорбции в импловивную эру моделей. Модели не составляют больше трансценденцию или проекцию, они не составляют больше воображаемое по отношению к реальному, они сами есть антиципация реального, и не оставляют место никакой форме фантастической антиципации – они имманентны, и значит, не оставляют место никакой форме воображаемой трансценденции. Открытое поле это поле симуляции в кибернетическом смысле, то есть поле манипуляции этими моделями во всех направлениях (сценарии, постановка симулированных ситуаций, и т.д.), но тогда *ничто не отличает данную операцию от управления и самой операции реального: фикции больше нет.*

Реальность могла превзойти фантастику: это было самым верным знаком возможной эскалации воображаемого. Но реальное не смогло бы превзойти модель, лишь алиби которой оно служит.

Воображаемое было алиби реального, в мире, управляемом принципом реальности. Сегодня реальное само стало алиби модели, в универсуме, управляемом принципом симуляции. И парадоксально то, что именно реальное стало нашей настоящей утопией – но утопией, которая не относится больше к порядку возможного, такой [утопией], о которой можно лишь мечтать как о потерянном объекте.

Возможно, научная фантастика кибернетической и гиперреальной эры способна лишь иссякнуть в «искусственном» воскрешении «исторических» миров, попытаться воссоздать в пробирке, до мельчайших подробностей, перипетии предшествующего мира, события, персонажей, минувшие идеологии, лишенные смысла, их оригинального процесса, но галлюцинирующие ретроспективной правдой. Как в *Симулякрах* Ф. Дика, война Отделения. Гигантская трехмерная голограмма, в которой фикция больше никогда не будет зеркалом, обращенным в будущее, но безнадежной повторной галлюцинацией прошлого.

Мы не можем больше представить себе другого универсума: в котором мы также были бы лишены милости трансценденции. Классическая научная фантастика была фантастикой расширяющейся вселенной, впрочем, свое вдохновение она черпала в рассказах о космических исследованиях, причастных к более земным формам исследования и колонизации XIX и XX века. Там нет причинно-следственного отношения: это не потому, что сегодня земное пространство виртуально закодировано, картографировано, взято на учет, пресыщено, в каком-то роде снова закрылось, в процессе глобализации – универсальный рынок, не только товаров, но ценностей, знаков, моделей, не оставляющий никакого места воображаемому – в

действительности не только по этой причине исследовательское пространство (техническое, ментальное, космическое) научной фантастики, и оно тоже, прекратило функционировать. Оба неукоснительно связаны, и являются двумя сторонами одного общего процесса имплозии, следующего за гигантским процессом взрыва и экспансии, характерного для прошлых веков. Как только система достигает своих собственных границ и пресыщается, происходит реверсия – имеет место нечто другое, как и в воображаемом.

До сих пор мы всегда обладали неким запасом воображаемого – однако, коэффициент реальности пропорционален запасу воображаемого, который придает ему специфический вес. Это верно в отношении географического исследования и космического тоже: как только исчезает девственная территория, а значит свободная для воображаемого, *как только карта покрывает всю территорию, то нечто такое, как принцип реальности, также исчезает*. Завоевание космоса означает в этом смысле необратимый шаг к потере земного референта. Утечка реальности как внутренней связи ограниченного универсума происходит тогда, как только границы последнего отступают в бесконечность. Завоевание космоса, наступившее после завоевания планеты, равнозначно отрыву от реальности человеческого пространства, или его погружению в симулятивную гиперреальность. Доказательством этому служит двойка/кухня/душ, выведенная на орбиту, можно сказать, на космическую мощь, с последним лунным модулем. Сама обыденность земного жилища, возведенного в ранг космической ценности, гипостазированного в пространстве – сателлизация реального в трансценденцию космоса – означает конец метафизики, конец фантазма, конец научной фантастики, начало эры гиперреальности.

Начиная с этого момента, кое-что должно измениться: проекция, экстраполяция, нечто вроде пантографической чрезмерности, составлявшей

шарм научной фантастики, невозможны. Отныне невозможно исходить из реального и фабриковать ирреальное, воображаемое, исходя из данных реального. Процесс будет скорее обратный: он будет заключаться в том, чтобы создать нецентрированные ситуации, модели симуляции и умудриться придать им оттенки реального, банального, пережитого, переизобрести реальное как фантастику, как раз потому, что оно исчезло из нашей жизни. Галлюцинация реального, пережитого, обыденного, но воссозданного, иногда вплоть до подробностей волнующей странности, воссозданного как животный или растительный запас, данного на просмотр с прозрачной точностью, но все-таки лишенной субстанции, оторванной от реальности, гиперреализованной.

Научная фантастика не могла бы больше быть в этом смысле развивающейся романтикой со всей свободой и «наивностью», предававшей ей шарм открытия, но скорее эволюционировала бы импозитивно, по самому подобию нашей актуальной концепции вселенной, стараясь восстановить, пересмотреть, оповседневнить фрагменты симуляции, фрагменты этой универсальной симуляции, ставшей для нас миром, условно, «реальным».

Где могли бы находиться отныне произведения, которые смогли бы отвечать на эту инверсию, на реверсирование этой ситуации? Очевидно, новеллы К. Филипа Дика «находятся в состоянии гравитации», если можно так сказать (но больше так невозможно сказать, поскольку это новое пространство как раз «антигравитационно», или, если оно все еще и тяготеет, то вокруг *дыры* реального, вокруг *дыры* воображаемого) в этом новом пространстве. В данном случае не имеется в виду альтернативный космос, фольклор или космический экзотизм, ни галактическое геройство – сразу и резко оказываешься в тотальной симуляции, симуляции без происхождения, имманентной, без прошлого, без будущего, лишенной колебания любых координат (ментальных, временных, пространственных, знаков) – речь не

идет о параллельной вселенной, о двойнике вселенной, и даже о возможной вселенной – ни возможная, ни невозможная, ни реальная, ни ирреальная: *гиперреальная* – это вселенная симуляции, нечто совершенно иное. И это не потому, что Дик специально говорит о симулякрах (научная фантастика всегда это делала, но она играла на двойнике, на дублировании или искусственном или воображаемом раздвоении, тогда как здесь двойник исчез, двойника больше нет, мы давно уже в другом мире, который даже и другим больше не является, лишившись зеркала, проекции, утопии – собственного отражения – симуляция непреодолима, предельна, *плотна*, без внешней поверхности – мы больше не выйдем даже «по ту сторону зеркала», что еще было возможно в золотую эру трансценденции).

Более убедительным еще мог бы явиться пример Балларда и его эволюции. Начиная с первых новелл, очень «фантазмагорических», поэтических, фантастических, непривычных, и заканчивая *Crash*, представляющей без сомнения (больше, чем *Высотка* или *Бетонный остров*) современную модель этой научной фантастики, которая таковой больше не является. *Crash*, это наш мир, ничто там не «изобретено»: там все гиперфункционально, движение и авария, техника и смерть, секс и объектив фотоаппарата, все там словно большая синхронная, симулированная машина, то есть, акселерация наших собственных моделей, всех окружающих нас моделей, перемешанных и гипероперационализованных в пустоте. Что отличает *Crash* от почти всей научной фантастики, которая крутится вокруг старой пары (механической и механистической) функция/дисфункция, так это то, что она проецирует в будущее согласно тем же силовым линиям и тем же финальностям, которые характерны для «нормального» универсума. Фикция там может выйти за грани реальности (или наоборот, что более тонко), но согласно тому же правилу игры. В *Crash*, больше никакой фикции, ни реальности, гиперреальность поглощает их и ту, и другую. Именно там,

если ее можно считать таковой, *наша* современная научная фантастика. *Джек Бэррон* или *Вечность*, некоторые фрагменты из *Всем стоять на Занзибаре*.

В действительности, научная фантастика в этом смысле нигде не существует, и она повсюду, здесь и сейчас, в самой аксиоматике окружающей симуляции. Она может возникнуть в сыром виде, от простой инерции этого операционального мира. Какой автор научной фантастики «вообразил» бы эту (но оно как раз больше не «воображается») «реальность» западно-немецких заводов-симулякров, заводов, повторно использующих безработных во всех ролях и на всех постах традиционного рабочего процесса, но которые не производят *ничего*, чья вся активность растрачивается в игре приказов, конкуренции, делопроизводства, бухгалтерии, от одного завода к другому, внутри огромной сети? Все материальное производство, удвоенное в пустоте (один из таких заводов симулякров даже «реально» потерпел банкротство, уволив во второй раз своих собственных безработных). Вот она симуляция, и не потому, что эти заводы вранье, но как раз потому, что они реальны, гиперреальны, и на этот раз они отсылают все «настоящее» производство, производство «серьезных» заводов, к той же гиперреальности. Что здесь ослепительно, так это не оппозиция настоящие заводы/заводы фальшивки, но напротив, неразличимость обоих, тот факт, что весь остаток производства обладает не большей референцией, или глубокой финальностью, чем этот «симулякр» предприятия. Именно эта гиперреалистическая неразличимость составляет настоящее «научно-фантастическое» качество данного эпизода. И мы видим, что нет никакой необходимости его изобретать: он здесь, возникший из мира лишенного тайны, лишенного глубины.

Самое трудное без сомнения сегодня, в сложном универсуме научной фантастики, это различить то, что подчиняется еще (и это очень большая часть) воображаемому второго порядка, продуктивного/проективного порядка, и то, что уже происходит от этой неразличимости воображаемого, от этого колебания, свойственного третьему порядку симуляции. Так, можно сделать ясное различие между механическими машинами-роботами, характерными для второго порядка, и кибернетическими машинами, компьютером и т.д., которые восходят, в своей аксиоматике, к третьему порядку. Но один порядок может легко заразить другой, и компьютер может прекрасно функционировать как механическая машина, суперробот, супермощная машина, подвергающая производственному гению симулякры второго порядка: он не представляет там процесс симуляции, но еще свидетельствует о рефлексах универсума, обладающего финальностью (включая амбивалентность и мятеж, например, компьютера 2001 или Салманассара во *Всем стоять на Занзибаре*).

Между *оперным* (статус театральный, театрального и фантастического механизма, «гранд опера» техники), соответствующим первому порядку, *операционным* (статус индустриальный, производственный, двигатель мощи и энергии), соответствующим второму порядку, и *операциональным* (статус кибернетический, алеаторный, распространяющийся от метатехники), который соответствует третьему порядку, все интерференции могут еще осуществляться сегодня на уровне научной фантастики. Но лишь третий порядок может нас по-настоящему заинтересовать.

Животные

Территория и метаморфозы

Чего хотели палачи от Инквизиции? Оправдания Зла, принципа Зла. Необходимо было заставить говорить обвиненным, что они были виновны лишь случайно, из-за вмешательства принципа Зла в божественный порядок. Так, признание восстанавливало внушающую каузальность, и мучение, истребление зла в пытке, было лишь триумфальным завершением (ни садистским, ни покаянным) *возведения Зла в ранг причины*. В противном случае, малейшая ересь сделала бы подозрительным все божественное творение. Точно так же, когда мы используем и злоупотребляем животными в лабораториях, в ракетах, с такой экспериментальной беспощадностью, во имя науки, какое оправдание мы ищем, препарируя их под скальпелем и электродами?

Как раз оправдание принципа объективности, в котором наука никогда не уверена, в котором она тайно разочаровалась. Необходимо заставить сказать животным, что они таковыми не являются, что животность, дикость, и вместе с тем то, что подразумевает невразумительность, радикальную странность вместо разума, не существует, но что наоборот, поведение самое животное, самое странное, самое *анормальное*, имеет место в науке, в физиологических механизмах, в мозговых соединениях, и т.д. Необходимо убить в животных животность, и присущий ей принцип неуверенности.

Экспериментирование, таким образом, представляет не средство, ведущее к какой-либо цели, но *современную* форму вызова и пытки. Оно не создает вразумительность, оно вымучивает научное признание, как когда-то вымучивали профессию веры. Признание того, что очевидные отклонения, болезнь, животность, безумие, есть лишь временная трещина в прозрачности

каузальности. Данное доказательство, как когда-то доказательство божественного разума, необходимо переделывать постоянно и повсюду – в этом смысле мы все животные, и животные из лаборатории, которых постоянно тестируют, с целью выкачать из них рефлекторное поведение, являющееся до такой степени признанием рациональности в последней инстанции. Повсюду животность должна уступить место рефлекторному животному началу, изгоняя порядок из необъяснимого, дикого, чьим воплощением как раз и остались для нас животные, в своем молчании.

Животные, таким образом, предшествовали нам на пути либерального уничтожения. Все аспекты современного обращения с животными воссоздают перипетии человеческой манипуляции, экспериментирования в целях производственного ускорения в животноводстве.

Собравшиеся на конгрессе в Лионе, европейские ветеринары обеспокоены болезнями и психическими расстройствами, число которых растет в производственных животноводческих комплексах.

(Наука и Будущее, июль 1973)

У кроликов развивается патологическое расстройство, они становятся копрофагами и бесплодными. С самого рождения кролик, кажется, «беспокойным», «неадаптированным». Повышенная чувствительность к инфекциям, паразитизму. Антитела теряют свою эффективность, самки становятся бесплодными. Спонтанно, если можно так сказать, смертность возрастает.

Истерия цыплят провоцирует истерию всей группы, возрастая до коллективного «психического» напряжения, которое может достигнуть критического порога: все животные начинают летать и кричать во всех

смыслах. Когда кризис стихает, наступает подавленность, общий страх, животные укрываются в углах, немые и словно парализованные. С наступлением первого шока, кризис начинается снова. Это может продолжаться многие недели. Была сделана попытка дать им транквилизаторы...

Каннибализм у свиней. Животные ранят сами себя. Телята принимаются лизать все, что их окружает, иногда до смерти.

«Необходимо констатировать, что животные в скотоводстве страдают «психически»... Становится необходимой зоо-психиатрия... Психизм фрустрации является препятствием на пути нормального развития».

Приглушенное освещение, красный свет, приспособления, транквилизаторы, все бессильно. У птиц существует иерархия в доступе к пище, *pick order*. В таких условиях перенаселения, последние в этом порядке вовсе не добираются до пищи. Следовательно, возникло желание сломать *pick order* и демократизировать доступ к пище при помощи другой системы распределения. Фиаско: разрушение этого символического порядка влечет тотальную путаницу среди птиц, и хроническую нестабильность. Хороший пример абсурдности: все знают аналогичные губительные последствия, причиненные демократической доброй волей в племенных обществах.

У животных появляются психосоматические заболевания! Экстраординарное открытие! Рак, язва желудка, инфаркт миокарда у мышей, у свиней, у цыплят!

В заключение, говорит автор, возможно единственным лекарством может стать пространство – «немного больше пространства», и многие наблюдаемые расстройства исчезли бы». В любом случае, «судьба этих животных стала бы менее жалкой». Таким образом, он удовлетворен этим конгрессом: «В рамках актуальной деятельности, касающейся судьбы животных в животноводческих комплексах, мы можем видеть, как который раз воедино сливаются мораль и смысл хорошо понятного интереса».

«Нельзя делать что угодно с природой». «Расстройства, ставшие достаточно серьезными для того, чтобы повлиять на рентабельность предприятия, это снижение прибыли способно привести к тому, что животноводы создадут животным более нормальные условия жизни». «Для того чтобы иметь здоровое животноводство, необходимо будет отныне заниматься также *ментальным равновесием животных*». И он предвидит время, когда животных будут оправлять, как людей, в деревню, чтобы поправить это ментальное равновесие.

Никогда еще не было сказано лучше о том, насколько «гуманизм», «нормальность», «качество жизни» являются лишь перипетией рентабельности. Параллель очень явственна между этими больными животными прибавочной стоимости и человеком индустриальной концентрации, научной организации работы и заводов на конвейере. Где капиталистические «животноводы» также пришли к раздирающему пересмотру режима эксплуатации, инновационного и заново изобретающего «качество работы», «обогащение задач», раскрывающего «человеческие» науки и «психо-социологическое» измерение завода. Только безвозвратная смерть делает пример с животными еще более ослепительным, чем пример с людьми на конвейере.

Против индустриальной организации смерти, животные не обладают никаким иным ресурсом, другим возможным вызовом, кроме как самоубийство. Все описанные аномалии суицидальны. Эти противостояния являются поражением индустриального разума (снижение прибыли). Но в особенности, чувствуется, что они противоречат *логическому* мышлению специалистов. В рамках логики рефлекторного поведения и животного-машины, в рациональной логике, данные аномалии не квалифицируемы. Тогда мы будем награждать животных психизмом, иррациональным и расстроенным психизмом, обреченным на либеральную и гуманную терапию, без того, чтобы конечная цель когда-либо изменилась: смерть.

Таким образом, с достаточной изощренностью психизм животного открывается словно новое научное и неисследованное поле, в тот момент, когда оно [животное] оказывается неприспособленным к смерти, которую для него готовят. Точно также изобретают психологию, социологию, сексуальность заключенных, когда становится невозможно их просто и чисто заключить под стражу⁸⁴. Они делают открытие: заключенный нуждается в свободе, сексуальности, «нормальности», чтобы вынести тюрьму, точно так же как индустриальные животные нуждаются в некотором «качестве жизни», чтобы умереть в рамках нормы. И ничто в этом не противоречиво. Рабочий тоже нуждается в ответственности, в самоуправлении, чтобы лучше отвечать на императив производства. Любой человек нуждается в психизме, чтобы быть приспособленным. Не существует другой причины для принятия психизма, сознательного или бессознательного. И его золотой век, который еще длится, будет совпадать с невозможностью рациональной социализации во всех областях. Никогда не существовало бы ни гуманитарных наук, ни психоанализа, если было бы возможно чудесным образом оградить человека от «рационального» поведения. Все открытие психологического, чья сложность может распускаться до бесконечности, происходит только от невозможности эксплуатировать до смерти (рабочих), заключать до смерти (задержанных), откармливать до смерти (животных), согласно строгому закону эквивалентностей:

- какова затрата времени и энергии в калориях = такова рабочая сила
- каково правонарушение = таково эквивалентное наказание
- сколько пищи = оптимальный вес и индустриальная смерть.

⁸⁴ Так, в Техасе, четыреста мужчин и женщин участвуют в испытании самого мягкой исправительной колонии в мире. В июне там родилась девочка, и за два года были совершены только три побега. Мужчины и женщины обедают вместе и посещают вместе сеансы групповой психологии. Каждый заключенный располагает своим собственным единственным ключом от своей индивидуальной комнаты. Пары обладают возможностью уединяться в свободных комнатах. На сегодняшний день тридцать пять заключенных сбежали, но многие из них вернулись сами.

Если все это стопорится, тогда рождаются психизм, психическое, невроз, психосоциальное, и т.д., не для того, чтобы разбить это бредовое равенство, но для того, чтобы восстановить принцип принятых эквивалентностей.

Вьючные животные должны были работать для человека. Животные, отвечающие на серию эффективных раздражений, собраны для того, чтобы отвечать на допрос науки. Животные потребления стали индустриальным мясом. Животные соматизации содержатся для того, чтобы говорить на языке «пси», отвечать за свой психизм и преступления своего бессознательного⁸⁵. С ними случилось все то, что происходит с нами. Наша судьба никогда не была отделена от их, и это что-то вроде горького реванша за Человеческий Разум, который истощил себя, воздвигая абсолютную привилегию Человеческого над Животным.

Впрочем, животные перешли в статус нечеловечности только в период прогресса разума и гуманизма. Логическая параллель с расизмом. Не существует объективного животного «царства», пока есть Человек. Слишком долго переделывать генеалогию присущих им статусов. Но пропасть, отделяющая их сегодня, пропасть, которая позволяет, чтобы животных опрашивали отвечать вместо нас в ужасающие универсумы пространства и лабораторий, пропасть, позволяющая уничтожать виды, продолжая хранить их в архиве в качестве образцов в африканских резервациях или в аду зоопарков – поскольку для них, живых, нет больше места в нашей культуре – все это покрыто расистской сентиментальностью (маленькие тюленята, Брижит Бардо), эта пропасть, отделяющая их, есть следствие domestikации, точно так же, как настоящий расизм есть следствие рабства.

⁸⁵ Примеч. переводчика. Игра автора на однокоренных и близких по звучанию словах. Somme (f) – вьюк, кладь, bêtes de somme – вьючные животные; Somme (f) - физиол. серия эффективных раздражений, bêtes de sommation - животные, отвечающие на серию эффективных раздражений; Consommation (f) – потребление, bêtes de consommation – животные потребления; Somatisation – психол. соматизация, отражение психических заболеваний в соматических изменениях, bêtes de somatisation – животные соматизации.

Когда-то животные обладали, возможно, более священным, более божественным характером, чем люди. «Человеческого» царства нет даже у первобытных, и долгое время животный порядок является порядком референции. Только животное достойно быть принесено в жертву, в качестве божества, жертвоприношение человека совершается только после этого, согласно порядку убывания. Люди характеризуются примыканием к животному: Бороро это ара⁸⁶. Все это не относится к до-логическому или психоаналитическому порядку – ни к ментальному порядку классификации, к которому Леви-Стросс свел изображение животного (уже невероятно то, что животные могли пользоваться *языком*, это также являлось частью их божественности) – нет, это означает, что Бороро и ара являются частью цикла, и что идея цикла исключает любое разделение видов, любые различимые оппозиции, на основе которых мы живем. Структурная оппозиция является *дьявольской*, она разделяет и сталкивает различимые идентичности: таково деление Человеческого, отбрасывающее животных к Нечеловеческому – цикл же *символичен*: он упраздняет позиции в реверсивной цепочке – в этом смысле, Бороро «это» ара, что несет в себе тот же смысл, что и фраза канака⁸⁷: мертвые гуляют среди живых. (Имеет ли в виду что-нибудь подобное Делез в своей статье-животным, и говоря: «Будьте розовой пантерой!»?).

Как бы там ни было, животные всегда обладали, до нас, божественным и жертвенным благородством, о котором упоминают все мифологии. Даже убийство на охоте это еще символическое отношение, в противоположность опытному препарированию. Даже одомашнивание животных это еще символическое отношение, в противоположность индустриальному животноводству. Стоит посмотреть только на статус животных в крестьянском обществе. И не нужно было бы путать статус доместикизации,

⁸⁶ Примеч. переводчика. Бороро – индейское племя в Восточной Бразилии. Ара, ара - сборная группа длиннохвостых попугаев.

⁸⁷ Примеч. переводчика. Канаки – коренные жители Меланезии, проживающие в Новой Каледонии.

предполагающий землю, клан, систему родственных отношений, в которую входят животные, со статусом животного в помещении – единственный вид животных, который остается за пределами резерваций и животноводства – собаки, кошки, птицы, хомяки, целиком окутанные любовью своего хозяина. Путь, который прошли животные, от божественного жертвоприношения до кладбища для собак с соответствующей музыкой, от сакрального вызова до экологической сентиментальности, говорит достаточно о вульгаризации статуса даже человека – что еще раз описывает неожиданную взаимосвязанность обоих.

Особенно наша сентиментальность по отношению к животным является верным знаком презрения, в котором мы их держим. Она пропорциональна этому презрению. Именно по мере его перехода в низший ранг безответственности, нечеловеческого, животное становится достойным человеческого ритуала любви и защиты, все, как и с ребенком, по мере его перехода в более низкий статус невинности и инфантильности. Сентиментальность это лишь бесконечно искаженная форма животности. Расистское сострадание, в которое мы рядим животных до тех пор, пока сами не начинаем их считать сентиментальными.

Те, кто когда-то приносил животных в жертву, не воспринимали их как животных. И даже Средневековье, которое приговаривало их и карало надлежащим образом, было этим ближе к ним, чем мы, кому подобная практика внушает ужас. Они считали их виновными: что значило оказать им честь. Мы же не ставим их ни во что, и именно на таком основании мы оказываемся «человечными» по отношению к ним. Мы больше не приносим их в жертву, мы больше их не наказываем, и мы этим гордимся, но мы их просто одомашнили, хуже: мы создали для них мир, низший расистски, даже более достойный нашей справедливости, нашей любви и социального милосердия, даже более достойный наказания и смерти, но мир экспериментирования и уничтожения, словно скотобойного мяса.

Чудовищность животных сегодня составляет устранение любой жестокости по отношению к ним. За жестокостью жертвоприношения, которая является жестокостью «интимности» (Батай), последовала сентиментальная или экспериментальная жестокость, жестокость дистанцирования.

Чудовищность поменяла смысл. Первоначальную жестокость животных, объект ужаса и ослепления, но всегда негативную, всегда амбивалентную, также объект обмена и метафоры, в жертвоприношении, в мифологии, в гербовой символике с животными, и даже в наших снах и фантазмах – эту чудовищность, богатую всеми угрозами и метаморфозами, ту, которая тайно присутствует в живой культуре людей и служит формой объединения, мы обменяли ее на зрелищную чудовищность: чудовищность Кинг-Конга, вырванного из своих джунглей и ставшего звездой мюзик-холла. Внезапно, культурный сценарий инвертировался. Когда-то, герой уничтожал зверя, дракона, монстра – и из пролитой крови рождались растения, люди, культура; сегодня животное Кинг-Конг разоряет индустриальные метрополии, освобождает нас от нашей, мертвой, культуры, дабы избавиться от любой реальной чудовищности и порвать с ней (которая выражалась в фильме в примитивном даре женщины). Глубокий соблазн фильма происходит из этой обратимости смысла: вся бесчеловечность перешла на сторону людей, вся человечность перешла на сторону оккупированной животности, и обоюдного соблазна женщины и животного, чудовищного соблазна одного порядка другим, человеческого и животного. Конг умирает за то, что, путем соблазна, снова сделал возможным превращение одного царства в другое, эту кровосмесительную близость, пусть даже никогда не реализованную, но хотя бы, символическим и ритуальным способом, между животными и людьми.

В действительности, испытания, через которые прошли животные, не слишком отличаются от пути безумия или детства, секса или

принадлежности к черной расе. Логика исключения, заключения, дискриминации, и, обязательно, взамен этого, логика реверсии, обратимая жестокость, которая заставляет целое общество, в конце концов, последовать аксиомам безумия, детства, сексуальности и низших рас (вычеркнутых, необходимо об этом сказать, из радикального вопроса, который они заставляли обдумывать исходя из самой сущности их исключения). Конвергенция процесса цивилизации изумительна. Животные, как и мертвые, и столько же других, участвовали в этом процессе присоединения путем исключения, который заключается в том, чтобы ликвидировать, а затем заставить говорить исчезнувшие виды, заставить их признаться в своем исчезновении. Заставит говорить животных, так же как заставили говорить безумных, детей, секс (Фуко). Это тем более невероятно для животных, чей принцип сомнения, которым они отягчили человека, с момента разрыва их альянса, состоит в том, что *они не разговаривают*.

Исторически ответом на вызов безумия послужила гипотеза о бессознательном. Бессознательное это то логистическое устройство, которое позволяет мыслить безумие (и более обобщенно любую странную и аномальную формацию) в рамках системы смысла, расширенного до пределов нонсенса, и которое будет замещено страхами бессмысленного, понятными отныне в разных видах некоего дискурса: психизм, неосознанное стремление к смерти, вытеснение из сознания, и т.д. Гипотезу о бессознательном нас заставили признать безумные, но, взамен, именно мы поймали их в эту ловушку. Поскольку, если, первое время, кажется, что Бессознательное оборачивается против Разума и радикально подрывает его, что оно еще обладает возможностью порвать с безумием, то позже оно оборачивается против него, так как является тем, что позволяет присоединить его к разуму более универсальному, чем классический разум.

Когда-то немые безумцы, сегодня весь мир прислушивается к ним, был найден подход, благодаря которому научились принимать их сообщения,

абсурдные и непонятные ранее. Дети говорят, это больше не те существа, одновременно странные и незначащие для взрослого универсума – дети означают, они стали означающими – не посредством некоторого «освобождения» их слова, но потому что взрослый разум обрел более тонкие средства для того, чтобы предотвращать угрозу их молчания. Первобытные люди тоже услышаны, о них настойчиво заботятся, их слушают, это больше не животные, Леви-Стросс прекрасно сказал, что их ментальные структуры были такими же как и наши, психоанализ связал их с Эдипом, и либидо – все наши коды хорошо пригодились, и они на них ответили. Их погребли под безмолвием, их хоронят под словом, «различным» словом, разумеется, но под словом порядка «различия», как когда-то под словом единства Разума, не будем обманываться на этот счет, приближается тот же самый порядок. Империализм разума, нео-империализм различия.

Главное то, что ничто не ускользнет от империи смысла, от разделения смысла. Конечно, за всем этим, ничто не говорит, ни безумные, ни мертвые, ни дети, ни дикари, и в действительности, мы ничего о них не знаем, но главное в том, что Разум сохранил достоинство, и что все избавляется от безмолвия.

Животные не говорят. В универсуме нарастающего слова, принуждения признания и слова, только они остаются безмолвными, и данным фактом, кажется, они сильно отделились от нас, за горизонт истины. Но это то, благодаря чему мы становимся близки с ними. Важна не экологическая проблема их выживания. Но все еще проблема их безмолвия. В мире, вставшем только на путь разговора, в мире, воссоединившемся с гегемонией знаков и дискурса, их безмолвие оказывает все большее влияние на нашу организацию смысла.

Разумеется, их заставляют говорить, и всеми способами, одни безобиднее других. Они разговаривали на моральном дискурсе человека в

басне. Они выдержали структурный дискурс в теории тотемизма. Они каждый день передают свое «объективное» сообщение – анатомическое, физиологическое, генетическое – в лабораториях. Они по очереди служили метафорой добродетелей и пороков, экологической и энергетической моделью, механической и формальной моделью в бионике, фантазматическим реестром для бессознательного, и, наконец, моделью абсолютной детерриториализации желания в «стать-животным» Делеза (парадоксально: взять животное в качестве модели детерриториализации, в то время как оно в высшей степени является существом территории).

Во всем этом, метафоре, подопытных кроликах, модели, аллегории (не забывая об их продовольственном «обычном значении»), животные поддерживают дискурс строгости. Нигде они не говорят по-настоящему, поскольку раскрывают только те вопросы, которые им задают. В этом их собственный способ отсылать Человеческое к его циркулярным кодам, позади которых их безмолвие анализирует нас.

Никогда не удастся избежать реверсирования, которое следует из любого исключения. Отрицание разума у умалишенных рано или поздно приведет к подрыву основ этого разума – безумные мстят за себя в каком-то роде. Отрицать у животных бессознательное, вытеснение из сознания, символическое (смешанное с языком), значит, рано или поздно, можно на это надеяться, в чем-то вроде снятия, следующего за снятием безумия и бессознательного, пересмотреть пригодность этих понятий, в том виде, в котором они управляют нами сегодня, и нас различают. Так как когда-то привилегия Человека базировалась на монополии разума, сегодня она базируется на монополии бессознательного.

Животные не обладают бессознательным, это хорошо известно. Они, несомненно, видят сны, но это предположение био-электрического порядка, и им не хватает языка, ведь только он придает снам смысл, прописывая их в

символическом порядке. Мы можем фантазировать на их счет, проектировать на них наши фантазмы и верить в то, что они разделяют эту мизансцену. Но все это нам удобно – в действительности животные не понятны нам, ни в режиме сознания, ни в режиме бессознательного. Речь не идет, таким образом, о том, чтобы принудить их к этому, но в точности наоборот, увидеть, *в чем они ставят под сомнение саму эту гипотезу бессознательного, и на какую другую гипотезу они нас толкают.* Таков смысл, или бессмыслица их безмолвия.

Таким было безмолвие умалишенных, подтолкнувшее нас к гипотезе бессознательного – таково противостояние животных, толкающее нас на смену гипотезы. Поскольку, если они являются и останутся для нас непонятными, тем не менее, мы живем в каком-то роде в понимании с ними. И если мы в нем живем, то, разумеется, не под знаком общей экологии, где в чем-то вроде планетарной ниши, которая есть не более чем расширенное измерение платоновской пещеры, призраки животных и природные элементы блуждали бы вместе с тенью людей, избежавших политической экономии – нет, наше глубокое единомыслие с животными, даже на пути исчезновения, установлено под объединенным, обратимым по внешнему виду знаком, *метаморфозы и территории.*

Ничто больше не кажется таким стабильным в сохранении вида, как животные, и, тем не менее, они служат для нас образом метаморфозы, всех возможных метаморфоз. Ничто не является более странствующим, более кочующим по внешнему виду, чем животные, и, тем не менее, их закон это закон территории.⁸⁸ Но необходимо устранить все противоречия по поводу

⁸⁸ Скитание животных – это миф, и современное представление, блуждающее и кочевническое, подсознательного и желания, того же порядка. Животные никогда не скитались, никогда не были детерриториализованы. Целая освободительная фантазмагория вырисовывается на противопоставлении принуждений современного общества, представлении природы и животных в качестве дикости, свободе «удовлетворять все свои нужды», сегодня «удовлетворять все свои желания» - поскольку современный руссоизм принял форму неопределенности подсознательного стремления к смерти, блуждания желания и номадизма бесконечности – но это все та же мистика освобожденных сил, не кодируемых, не обладающая никакой иной финальностью, кроме собственного извержения.

Однако, свободная, девственная природа, не имеющая ни границ, ни территории, где каждый блуждает в свое удовольствие, никогда не существовала, если только в воображаемом доминирующего порядка, чьим

этого понятия территории. Это совершенно не расширенное отношение субъекта или группы к своему собственному пространству, нечто вроде органического права личной собственности индивида – таков фантазм психологии и социологии, расширенной до всякой экологии – ни этот тип витальной функции, пузыря окружающей среды, к которому сводится вся система потребностей⁸⁹. Территория это также не пространство, то, с чем этот термин подразумевает для нас свободу и присвоение. Ни инстинкт, ни потребность, ни структура (была бы она «культурной» и «поведенческой»), понятие территории противопоставляется также некоторым образом понятию бессознательного. Бессознательное – это «погребенная», отесненная и неопределенно разветвленная структура. Территория открыта и очерчена. Бессознательное – это место неопределенного повторения вытеснения и фантазмов субъекта. Территория – это место завершения цикла родства и обменов – без субъекта, но без исключения: животный и растительный цикл, цикл благ и богатства, цикл родства и вида, цикл женщин и ритуала –

эквивалентным зеркалом она является. Мы проектируем в качестве идеальной дикости (природа, желание, животность, ризома...) саму схему детерриториализации, которая является также схемой экономической системы и капитала. Свобода не существует нигде кроме капитала, именно капитал ее произвел, именно он ее углубляет. Существует, таким образом, точная корреляция между социальным законодательством ценности (городским, индустриальным, репрессивным, и т.д.) и воображаемой дикостью, которую ему противопоставляют: они оба «детерриториализованы», и один по образу другого. Впрочем, радикальность «желания», и мы видим это в современных теориях, растет по мере цивилизованной абстракции, совсем не в качестве антагонистической, но абсолютно согласно тому же движению, движению той же самой формы, всегда более декодированной, более смещенной от центра, более «свободной», которая охватывает сразу наше реальное и наше воображаемое. Природа, свобода, желание и т.д., не выражают даже инвертированную мечту капитала, они напрямую выражают прогресс или разрушения этой культуры, они даже ее превосходят, поскольку они грезят о тотальной детерриториализации там, где система всегда предписывает только относительную детерриториализацию: требование «свободы» это всегда лишь требование зайти дальше, чем система, но в том же самом смысле.

Ни животным, ни дикарям не знакома «природа» в нашем понимании: им знакомы лишь *территории*, ограниченные, отмеченные, представляющие собой непреодолимые пространства взаимного соответствия.

⁸⁹ Так, Анри Лабори отвергает интерпретацию территории в терминах инстинкта или личной собственности: «Никогда не подчеркивалась, в гипоталамусе или где-либо, клеточная группа или дифференцированные нервные пути в отношении понятия территории... Кажется и не существует центра территории... Бесполезно прибегать к какому-то особенному инстинкту» – но для того, чтобы лучше отослать ее к функциональности потребностей, расширенной до культурных отношений, сегодня она является вульгатой, общей для любой экономики, психологии, социологии, и т.д.: «Территория становится, таким образом, пространством, необходимым для реализации доставляющего удовлетворение акта, витальным пространством... Пузырь, территория представляют таким образом кусок пространства в непосредственном контакте с организмом, тот, в котором он «раскрывает» свои термодинамические обмены для того, чтобы поддерживать свою собственную структуру... По мере возрастающей взаимозависимости человеческих индивидов, скученности, характеризующей большие современные города, индивидуальный пузырь сократился значительным образом...» Пространственная, функциональная, гомеостатическая концепция. Словно целью группы или одного человека, даже животного, являлось бы равновесие своего пузыря и гомеостаз своих обменов, внутренних и внешних!

субъекта нет, и все в нем пребывает в процессе обмена. Обязанности там абсолютны, тотальная обратимость, но никто там не знает смерти, потому что все там претерпевает метаморфозы. Ни субъекта, ни смерти, ни бессознательного, ни вытеснения, поскольку ничто не способно остановить непрерывную цепочку форм.

Животные не обладают бессознательным, потому что обладают территорией. Люди обрели бессознательное, как только лишились территории. Территория и метаморфозы у них были отняты одновременно – бессознательное это индивидуальная структура траура, в которой разыгрывается, непрерывно и безнадежно, эта потеря – животные представляют собой эту ностальгию. Вопрос, который они задают нам, звучал бы следующим образом: не живем ли мы отныне за пределами действия линейности и аккумуляции разума, по ту сторону эффектов сознания и бессознательного, согласно этому необработанному, символическому образу действий, цикла и неопределенной реверсии в конечное пространство? И за пределами идеальной схемы, схемы нашей культуры, любой культуры, возможно, схемы аккумуляции энергии, и ее конечного высвобождения, не грезим ли мы скорее об имплозии, чем о взрыве, о метаморфозе скорее, чем об энергии, о долге и ритуальном вызове скорее, чем о свободе, о территориальном цикле скорее, чем о ... Но животные не задают вопросов. Они молчат.

Остаток

Когда вычитают все, не остается ничего.

Это ложно.

Уравнение всего и ничего, вычитание остатка, ложно от начала до конца.

Это не верно, что остатка нет. Но последний никогда не обладает, ни автономной реальностью, ни собственным местом: он есть то, чье деление, описывание, исключение означает... что-то другое? Именно посредством вычитания остатка образуется и приобретает силу реальности... что-то другое?

Странно то, что не существует как раз противоположного термина в бинарной оппозиции, можно сказать правая сторона/левая, тот же самый/другой, большинство/меньшинство, безумный/нормальный, и т.д. – но остаток! ?. Ничего по другую сторону черты. «Сумма и остаток», сложение и остаток, операция и остаток – не являются четкими оппозициями. И, тем не менее, то, что по другую сторону остатка, существует, это даже обозначенный термин, сильная сторона, привилегированный элемент в этой, странным образом ассиметричной оппозиции, в этой структуре, которая таковой не является. Но этот обозначенный термин не имеет названия. Он анонимен, он нестабилен и лишен дефиниции. Позитивен, но только негативное придает ему силу реальности. Строго, он мог бы быть определен как остаток остатка.

Остаток, таким образом, отсылает намного дальше, чем ясное деление с двумя локализованными пределами, к структуре вращающейся и обратимой, всегда неизбежной реверсивной структуре, где *никогда не знаешь, который из двух является остатком другого*. Ни в какой другой структуре невозможно оперировать подобной реверсией, или этим погружением в

бездну: мужское это не женское женского, нормальное это не безумное безумного, правое это не левое левого, и т.д. Возможно, только в зеркале может быть задан вопрос: что, реальное или образ, является отражением другого? В этом смысле, возможно говорить об остатке как о зеркале, или о зеркале остатка. Дело в том, что в обоих случаях, структурная линия демаркации, линия распределения смысла, стала неустойчивой, дело в том, что смысла (наиболее дословно: возможность следовать от одной точки до другой согласно вектору, определенному соответствующим положением терминов) больше не существует. Больше нет соответствующего положения – реальное исчезает, чтобы уступить место образу более реальному, чем реальное, и наоборот – остаток исчезает из того определенного места, чтобы снова возникнуть на обратной стороне, в том, чьим остатком он являлся, и т.д.

Так, например, с социальным. Кто скажет, что остаток социального это не социализированные отходы, или, что это не само социальное является остатком, гигантским отбросом... чего-то еще? Процесса, который, исчез ли бы он полностью и не обладал ли бы он иным названием кроме социального, тем не менее, был бы только остатком всего этого. Остаток может тотально соответствовать реальному. Когда система поглотила все, когда все прибавлено, когда не остается ничего, *полная сумма вертится на остатке* и становится остатком.

Взгляните на рубрику «Общество» газеты *Le Monde*, в которой появляются только иммигранты, преступники, женщины и т.д. – все то, что не было социализировано, «социальные» случаи, аналогичные патологическим случаям. Карманы, которые необходимо устранить, сегменты, которые «социальное» постепенно изолирует из своего пространства. Обозначенные как «остаточные» на горизонте социального, они входят именно там в его юрисдикцию, обреченные находить свое место в расширенной социальности. Именно этот остаток снова и снова преследует

социальная машина и обретает новую энергию. Но что происходит, если все устранено, когда все социализировано? Тогда машина останавливается, динамика инвертируется, и остатком становится целая социальная система. По мере того, как в собственной прогрессии социальное устраняет все отходы, оно само становится остаточным. Обозначая все остаточные категории как «Общество», *социальное само обозначает себя как остаток.*

Невозможность определить, что является остатком другого, характеризует фазу симуляции и агонии различительных систем, фазу, в которой все становится остатком и остаточным. Наоборот, исчезновение предсказывающей и структурной черточки, которая изолировала остаток от ??? и которая позволяет отныне каждому термину быть остатком другого, характеризует фазу обратимости, в которой виртуально *больше нет остатка.* Оба предложения «истинны» одновременно и не исключают друг друга. Они сами являются обратимыми.

Другой аспект, такой же необычный как отсутствие противоположного термина: остаток вызывает улыбку. Любая дискуссия на эту тему пускает в ход те же языковые игры, ту же двусмысленность и ту же похабщину, что и дискуссии на тему секса или смерти. Секс и смерть это две грандиозные темы, которые способны вызвать амбивалентность и смех. Но остаток это третья, и возможно, единственная, а две другие сводятся к ней как к самой фигуре обратимости. Так как почему возникает смех? Смех вызывает только обратимость вещей, а секс и смерть являются фигурами имманентно обратимыми. Именно потому, что цель всегда обратима между мужским и женским, между жизнью и смертью, люди смеются над сексом и смертью. Насколько еще больше остатка, которому не знаком даже противоположный термин, который возвращается к самому себе в течение всего цикла, и бесконечно бежит за своей чертой, за своим двойником, как Петер Шлемиль

за своей тенью⁹⁰? Остаток непристоен, потому что обратим и обменивается на самого себя. Он непристоен и вызывает смех, так же как вызывает смех, настоящий смех, только неразличимость мужского и женского, неразличимость жизни и смерти.

Остаток стал сегодня сильным термином. Именно на остатке основывается сегодня новая вразумительность. Конец некой логики различимых оппозиций, в которых слабый термин играл роль остатка. Сегодня все инвертируется. Сам психоанализ является первой большой теоретизацией отходов (оговорки, сны, и т.д.). Нами управляет отныне не политическая экономия производства, а политическая экономика воспроизводства, переработки – экология и загрязнение – политическая экономия остатка. Вся нормальность снова проглядывает сегодня в свете безумия, которое было лишь ее незначительным остатком. Привилегия всех остатков, во всех областях, недосказанного, женского, безумного, маргинального, экскрементов и отходов в искусстве, и т.д. Но все это является лишь еще одним видом инверсии структуры, возврата вытесненного в качестве сильного элемента, возврата остатка в качестве прироста смысла, избытка (но избыток формально не отличается от остатка, и проблема растраты избытка у Батая не отличается от проблемы ликвидации остатков в политической экономии расчета и дефицита: различны только философы),

⁹⁰ Аллюзия на Петера Шимиля, потерявшего свою тень, не случайна. Поскольку тень, как образ в зеркале (в Студенте Праги), в высшей степени является остатком, это нечто, что может «упасть» с тела, в точности как волосы, экскременты или отрезки ногтей, к которым они приравниваются в любой архаической магии. Но они также являются, как известно, «метафорами» души, дыхания, Бытия, сущности, того, что в глубине придает субъекту смысл. Без образа или без тени, тело становится прозрачным ничто, *оно само уже не что иное, как остаток*. Оно есть полупрозрачная субстанция, которая становится однажды тенью аллеи. Оно не обладает больше реальностью: вся реальность была унесена с собой тенью (так, в Студенте Праги, образ, разбитый вместе с зеркалом, влечет за собой смерть героя – классический кадр фантастических сказок – вспомните еще Тень Ганса Христиана Андерсена). Так, тело может быть всего лишь отходом своего собственного остатка, падением своего собственного падения. Единственно так называемый реальный порядок способен отдать привилегию телу в качестве референции. Но ничто в символическом порядке не позволяет утвердить приоритет одного или другого (тела или тени). Но именно эта обратимость тени и тела, это падение главного, под ударом незначимого, это непрерывное падение смысла перед тем, что от него остается, будь то остатки ногтя или объект «малое а», создает шарм, красоту и волнующую странность подобных историй.

эскалации смысла, исходя из остатка. Секрет всех «освобождений», играющих на энергиях, скрытых по другую сторону черты.

Однако мы стоим перед лицом ситуации намного более оригинальной: не ситуации чистой и простой инверсии и продвижения остатков, но ситуации неустойчивости любой структуры и любой оппозиции, которая создает предпосылки для того, чтобы даже не было остатка, поскольку он [остаток] повсюду, и, играя с черточкой, аннулируется как таковой.

Ничего не остается не тогда, когда все удалено, но когда вещи непрерывно инвертируются и само сложение уже не имеет смысла.

Рождение остаточно, если оно символически не отнято инициацией.

Смерть остаточна, если не разрешена в трауре, в коллективном траурном празднестве.

Ценность остаточна, если она не поглощена и не рассеяна в цикле обменов.

Сексуальность остаточна, если становится производством сексуальных отношений.

Само социальное остаточно, если становится производством «социальных отношений».

Все реальное остаточно,

и все, что остаточно, обречено на бесконечное повторение в фантазме.

Любая аккумуляция есть лишь остаток, и остаточная аккумуляция, в том смысле, что она есть размыкание альянса, и компенсация в линейной бесконечности накопления и расчета, в линейной бесконечности производства, энергии и ценности, то, что до этого осуществлялось в цикле альянса. Однако то, что проходит полный цикл, совершается тотально, в то время как в масштабах бесконечности, все то, что по ту сторону черты

бесконечности, за чертой вечности (этого огромного запаса времени, который также является, как и любой запас, разрывом альянса), все это является лишь остатком.

Аккумуляция это лишь остаток, а вытеснение является только ее инвертированной и симметричной формой. Скопление аффектов и вытесненных представлений, именно на этом основывается наш новый альянс.

Но когда все вытеснено, ничто уже таковым не является. Мы не так далеки от той абсолютной точки вытеснения, когда сами накопления разрушаются, когда накопления фантазмов исчезают. Все воображаемое накопления, энергии и того, что от этого остается, происходит из вытеснения. И как только последнее достигнет критического предела насыщения, опрокидывания собственной очевидности, тогда энергии не нужно будет больше высвобождаться, растрачиваться, экономиться, производиться: сам энергийный концепт испарится посредством самого себя.

Сегодня из остатка, из оставшихся нам энергий, из восстановления и консервации остатков, создается критическая проблема человечества. Как таковая она не решаема. Любая новая высвобожденная или растраченная энергия породит новый остаток. Любое желание, любая чувственная энергия произведет новое вытеснение. Что удивительного, если сама энергия зарождается только в движении, которое накапливает ее и высвобождает, которое вытесняет и «производит» ее, то есть в образе остатка и его двойника?

Необходимо добиться бессмысленного потребления энергии, чтобы искоренить само понятие. Необходимо добиться максимального вытеснения, чтобы искоренить само понятие. Когда будет истрачен последний литр энергии (последним экологом), когда будет изучен последний абориген (последним этнологом), когда будет произведен самый последний товар оставшейся «рабочей силой», когда последний фантазм будет истолкован

последним аналитиком, когда все будет освобождено и потреблено «при помощи последней энергии», тогда мы заметим, что эта гигантская спираль энергии и производства, вытеснения и бессознательного, благодаря чему удалось заключить все в энтропийное катастрофическое уравнение, что все это в действительности есть не что иное, как метафизика остатка, и которая будет разрешена одновременно во всех своих воздействиях.

Труп по спирали

Университет находится в процессе вырождения: не функционален в социальном плане рынка и занятости, лишен как культурной субстанции, так и конечной цели знания.

Не существует больше даже власти в собственном смысле слова: она также находится в процессе вырождения. Отсюда невозможность возврата пылающего пламени 68 года: перемена местами в постановке под вопрос знания и самой власти – взрывное противоречие знания и власти (или вскрытие их коллизии, что приводит к одному и тому же) в Университете, и сразу, путем символического заражения (более чем политическим) во всем институциональном и социальном порядке. Статья *Почему социологи?* отметила данный поворот: безвыходность знания, головокружение не-знания (то есть, одновременно абсурдность и невозможность аккумулировать ценность в порядке знания), оборачивается словно абсолютное оружие против самой власти, чтобы разрушить ее по тому же головокружительному сценарию освобождения. Таков эффект мая 68 года. Он невозможен сегодня, когда сама власть сбежала, вслед за знанием, став неуловимой. Лишив себя права власти. В институции, отныне неустойчивой, лишенной содержания знания, лишенной структуры власти (если не архаичный феодализм, управляющий механическим симулякром, чье предназначение ускользает от него, и чье выживание искусственно, как и выживание казарм и театров), агрессивное вторжение невозможно. И имеет смысла не больше, чем то, что ускоряет гниение, делая акцент на пародийной, симулятивной стороне игр агонизирующих знания и власти.

Забастовка производит в точности обратный эффект. Она возрождает идеал возможного университета, фикцию доступности культуры для всех

(неуловимой, и которая больше не имеет смысла), она подменяет собой функционирование университета в качестве его критической альтернативы, в качестве его терапии. Она еще грезит о субстанции и о демократии знания. Впрочем, сегодня повсюду левое крыло играет эту роль: именно справедливость левых снова внушает *идею* справедливости, требование логики и социальной морали в разрушающемся прогнившем аппарате, теряет любое осознание собственной легитимности и почти сама отказывается функционировать. Именно левые секретируют и безнадежно воспроизводят власть, поскольку нуждаются в ней, а значит, верят в нее и воскрешают ее там, где система кладет ей конец. Система последовательно кладет конец всем своим аксиомам, все своим институтам, и последовательно реализует цели исторического и революционного левого крыла, которому не остается ничего иного кроме как воскрешать все механизмы капитала, для того, чтобы однажды их инвестировать: частную собственность в небольшое предприятие, армию в национальное величие, пуританскую мораль в мелкобуржуазную культуру, справедливость в университет – необходимо все сохранить из того, что ускользает, из того, что сама система, в своем чудовищном согласии, но также и в своем необратимом порыве, уничтожила.

Отсюда парадоксальная, но необходимая инверсия всех терминов политического анализа.

Власть (или то, что от нее осталось) больше не верит в Университет. В глубине души она знает, что он есть не более чем зона приюта и надзора для целого возрастного класса, и занимается [власть] только селекционированием – свою элиту она найдет в другом месте, или иными способами. Дипломы ничему не служат: почему она должна отказываться выдавать их, впрочем, она готова выдавать их всем – тогда зачем эта вызывающая политика, если не для того, чтобы направить свои энергии на фиктивную ставку (отбор, работа, дипломы и т.д.), на уже умерший и гниющий референт.

В процессе гниения Университет еще способен причинить много зла (гниение это *символическое* устройство – не политическое, но символическое, а значит пагубное для нас). Но для этого нужно было бы исходить из самого этого гниения, а не мечтать о воскрешении. Нужно было бы трансформировать это гниение в неистовый процесс, в неистовую смерть, насмешкой, вызовом, усиленной симуляцией, которая подарила бы всему обществу ритуал смерти университета в качестве модели гниения, контагиозную модель нелюбви целой социальной структуры, в которой, наконец, свирепствовала бы смерть, которую так безнадежно, в сговоре с системой, пытается предотвратить забастовка, и превращая ее всего-навсего в медленную смерть, в откладывание, которая уже даже не является больше возможным местом разрушения, агрессивной реверсии.

Именно это удалось сделать в Мае 68. В некий момент наименьшего упадка духа Университета и культуры, студенты, далекие от желания спасти мебель (воскресить потерянный объект, идеальным образом), выразили свое возражение, бросая власти вызов тотальной, немедленной смерти институции, вызов детерриторизации намного более интенсивной, чем та, которая исходила от системы, и, требуя от власти ответить на эту тотальную девиацию института знания, на это тотальное отсутствие требования накопления в определенном месте, на эту смерть, желаемую на крайний случай – не *кризис* университета, то не вызов, напротив, это игра системы, но *смерть* университета – на это власть не смогла дать ответ, если только не своим собственным крушением взамен (возможно, на мгновение, но мы это видели).

Баррикады 10 мая казались оборонительными и способными защитить территорию: Латинский квартал, старый небольшой магазинчик. Но это не правда: за этой видимостью, скрывается умерший университет, мертвая культура, чей вызов они бросали власти, и одновременно их собственная возможная смерть – трансформация в немедленную жертву, что являлось не более чем долгосрочной операцией самой системы: ликвидация культуры и знания. Они были там не для того, чтобы спасти Сорбонну, но для того, чтобы размахивать ее трупом перед другими, так же как Негры Уоттса и Детройта кичились развалинами своих кварталов, которые они сами же и подожгли.

Чем можно размахивать сегодня? Нет больше даже руин знания, культуры – сами развалины мертвы. Мы это знаем, в течение семи лет мы совершали траурный обряд по Нантеру. 68 год мертв, повторить который возможно лишь в траурном фантазме. То, что могло бы быть эквивалентно этому в символическом насилии (то есть за пределами политического) это та же самая операция, которая заставила столкнуться не-знание, гниение знания с властью – обрести эту сказочную энергию вовсе не на том же самом уровне, но на высшем витке спирали: заставить столкнуться не-власть, гниение власти с – с чем конкретно? Вот в чем проблема. Возможна, она не разрешима. Власть теряется, власть потеряла себя. Вокруг нас лишь манекены власти, но автоматическая иллюзия власти еще управляет социальным порядком, позади которой возрастает отсутствующий, неразборчивый ужас контроля, ужас бесповоротного кода, ничтожными терминалами которого являемся мы.

Нападать на репрезентацию также не имеет больше никакого смысла. Понятно, что все студенческие конфликты (как и, в более широком смысле, на уровне глобального общества) вокруг репрезентации, делегации власти,

по той же причине, являются не более чем призрачными перипетиями, еще достаточными, тем не менее, для того, чтобы безнадежно занять авансцену. Не знаю, благодаря какому эффекту Мебиуса, но репрезентация также повернулась на саму себя, и весь логический универсум политического распадается моментально, оставляя место бесконечному пространству симуляции, в котором больше никто не является ни репрезентируемым, ни репрезентативным чего бы то ни было, где все, что аккумулируется, разаккумулируется одновременно, в котором исчез даже основной, директивный и готовый оказать помощь фантазм власти. Еще непонятный для нас, неузнаваемый универсум неблагоприятной кривой, которой наши ментальные координаты, ортогональные и простирающиеся в линейную бесконечность критики и истории, неистово сопротивляются. Тем не менее, именно там необходимо сражаться, если даже это еще имеет смысл. Мы – симулянты, мы – симулякры (не в классическом смысле «видимости»), вогнутые зеркала, излучаемые социальным, излучение, лишенное светового источника, власть без происхождения, без дистанции, и именно в этом тактическом универсуме симулякра необходимо будет сражаться – без надежды, надежда это слабая ценность, но с вызовом и иступленно. Поскольку не нужно отрицать сильное возбуждение, эманлирующее от этой обессиленности всех инстанций, всех осей ценности, любой аксиологии, включая политическую. Этот спектакль, который является одновременно агонией и апогеем капитала, далеко превосходит спектакль товара, описанный ситуационистами. В этом спектакле кроется наша основная сила. Мы не находимся больше в каком-либо сомнительном или победоносном, но политическом силовом отношении с капиталом, это фантазия революции. Мы находимся в отношении вызова, соблазна и смерти с универсумом, который таковым больше не является, потому что, по правде сказать, в нем отсутствует какая-либо осевая система. Вызов, брошенный нам капиталом в бредовом состоянии – бесстыдно ликвидирующий закон прибыли,

прибавочную стоимость, производительные цели, властные структуры, и обретающий, в завершении своего процесса глубокую безнравственность (но также соблазн) примитивных ритуалов деструкции, так вот этот вызов необходимо принять в бессмысленной эскалации. Капитал так же безответствен, необратим, неотвратим, как и ценность. Только ему она способна подарить фантастический спектакль своего распада – лишь призрак ценности еще витает над пустыней классических структур капитала, так же как призрак религии, десакрализованный, витает уже так долго над миром, так же как призрак знания витает над Университетом. Нам предстоит снова стать кочевниками этой пустыни, но свободными от автоматической иллюзии ценности. Мы будем жить в этом мире, обладающем для нас всей волнующей странностью пустыни и симулякра, со всей правдоподобностью живых призраков, блуждающих и симулирующих животных, которые капитал, которые *смерть капитала* сделала из нас – так как пустыня городов равноценна пустыне песков – джунгли знаков равноценны лесным джунглям – головокружение симулякров равноценно головокружению природы – лишь головокружительный соблазн агонизирующей системы продолжает существовать, где работа погребает работу, где ценность погребает ценность – оставляя девственное, испуганное пространство, лишённое нервных импульсов, непрерывное, как того хотел Батай, где лишь ветер приподнимает песок, где лишь ветер наблюдает за песком.

Что присутствует в политическом порядке от всего этого? Слишком мало.

Но мы должны также сражаться с сильным гипнозом, который оказывает на нас агония капитала, с мизансценой агонии, осуществляемой самим капиталом, реальными агонизирующими участниками которой мы являемся. Оцепленные *симулякром* ценности и *призраком* капитала и власти, мы намного более безоружны и беспомощны, чем тогда, когда оцеплены законом ценности и товара, поскольку система оказалась способной

интегрировать свою собственную смерть, и ответственность с нас снята, а значит смысл нашей собственной жизни. Подобную высшую хитрость системы, хитрость симулякра ее смерти, благодаря чему она поддерживает нас при жизни, абсорбируя всякую возможную негативность, возможно предупредить только превосходящей хитростью. Вызов или воображаемая наука, лишь паталогика симулякров способна вытянуть нас из симулятивной стратегии системы и смертельного тупика, в которые она нас заключила.

Май 1976.

Последнее танго ценности

*Там, где все не на своем месте, беспорядок
Там, где на желаемом месте нет ничего, порядок.*

Брехт

Паника ответственных лиц Университета от идеи выдавать дипломы, не основанные на «реальной» работе, лишены эквивалентности знания. Эта паника не равноценна панике политического переворота, она от того, что ценность отходит от своих содержаний и функционирует в одиночестве, согласно самой форме. Университетские ценности (дипломы, и т.д.) будут быстро распространяться и продолжать циркулировать, почти как плавающие капиталы или евродоллары, они будут кружиться без критерия референции, в крайнем случае, полностью обесцененные, но это не важно: только их циркуляции достаточно, чтобы создать социальный горизонт ценности, и навязчивая идея о призраке ценности будет еще сильнее, даже тогда, когда ее референт (ее обычная ценность, ее обменная ценность, университетская «рабочая сила», которую она охватывает) теряется. Ужас ценности без эквивалентности.

Эта ситуация новая только внешне. Она является таковой для тех, кто полагает, что в Университете происходит реальный рабочий процесс, и кто вкладывает в него свою жизнь, свой невроз, свой смысл бытия. Обмен знаками (знания, культуры) в Университете, между «обучающими» и «обучаемыми» является с некоторых пор уже не более чем удвоенной коллизией горечи безразличия (безразличие знаков, влекущее за собой охлаждение социальных и человеческих отношений), удвоенным симулякром психодрамы (стыдливой просьбы теплоты, присутствия, эдипова обмена,

педагогического инцеста, стремящегося заменить собой потерянный обмен работы и знания). В этом смысле, Университет остается местом *безнадежной инициации в пустую форму ценности*, и тем, кто живет в нем уже несколько лет, знакома эта странная работа, настоящая безнадежность не-работы, не-знания. Так как современные поколения еще грезят о том, чтобы читать, учиться, соперничать, но душа больше туда не вкладывается – в общем, культурная аскетичная ментальность канула в лету. Вот почему забастовка больше ничего не значит⁹¹.

Вот почему еще мы были пойманы в ловушку, мы сами себя поймали в ловушку, после 68, раздавая дипломы всем. Ниспровержение? Вовсе нет. Еще раз мы оказались инициаторами продвинутой формы, чистой формы ценности: дипломов без работы. Система в них больше совершенно не нуждается, но она желает этого – операциональные ценности в пустоте – и создали их мы, в инвертированной иллюзии.

Студенческая подавленность от того, что им жалуют не заработанные дипломы, равна и дополняет подавленность преподавателей. Она более интимна и более тайна, чем традиционный страх провалить или получить дипломы, лишённые ценности. Страхование диплома с ответственностью за все риски, обесмысливающее перипетии знания и отбора, достаточно сложно выдержать. Плюс к этому оно усложняется либо предоставлением алиби, симулякром работы, в обмен на симулякр диплома, либо некоей формой агрессии (преподаватель, который должен выдать обязательный минимум, называемый также автоматическим распределителем) или злобы,

⁹¹ Впрочем, современная забастовка логически обретает те же аспекты, что и работа: то же напряжение, та же невесомость, то же отсутствие целей, та же аллергия на решение, то же кружение по кругу инстанции, тот же траур по энергии, та же неопределенная циркулярность в забастовке сегодня, что и во вчерашней работе, та же ситуация в контр-институции, что и в институции: заражение возрастает, круг замкнут – после этого необходимо будет выйти наружу. Или скорее нет: принять сам этот тупик за базовую ситуацию, обернуть нерешительность и отсутствие цели в агрессивную ситуацию, в стратегию. Стараясь любой ценой вырваться из этой смертельной ситуации, из этой университетской ментальной анорексии, студенты приходят лишь к тому, что снова вдыхают энергию в институцию, пережившую кому, именно форсированное выживание, именно медицина безнадежности практикуется сегодня как на институциях, так и на ее индивидах, и которая повсюду служит знаком все той же самой неспособности победить смерть. «Нужно толкнуть того, кто падает», говорил Ницше.

для того, чтобы как можно меньше сохранилось что-либо от «реальных» отношений. Но ничто там не происходит. Даже рабочие сцены между преподавателями и студентами, составляющие основную часть их обменов, являются отныне не более чем напоминанием, и чем-то вроде ностальгии по жестокости, или сообщничеству, которая когда-то противопоставляла их или объединяла вокруг главной цели, знания или политической ставки.

«Жесткий закон ценности», «железный закон» – когда он бросает нас на произвол судьбы, какая печаль, какая паника! Вот почему есть еще хорошие деньки для фашистских и авторитарных методов, поскольку они воскрешают нечто, относящееся к жестокости, необходимое для того, чтобы жить – не важно, пережитой или причиняемой жестокости. Жестокость ритуала, жестокость работы, жестокость знания, жестокость крови, жестокость власти и политического, это хорошо! Это ясно, это ярко, силовые отношения, противоречия, эксплуатация, репрессия! Сегодня этого не хватает, и это чувствуется! Это целая игра, например, в Университете (но вся политическая сфера артикулируется тем же самым образом), реинвестирование его власти преподавателем посредством «свободного слова», самоуправление групп и другие современные пустяки. Никто не остается обманутым. Просто для того, чтобы избежать глубокого разочарования, катастрофы, которую влечет за собой потеря ролей, статусов, ответственностей и разворачивающуюся там демагогию необходимо воссоздать в лице преподавателя, будь то манекен власти или знания, или частица легитимности, исходящая от ультра-левых – в противном случае ситуация станет невыносимой для всех. Именно на основании данного компромисса – искусственное изображение преподавателя, двусмысленное сообщничество студента – именно на основании этого призрачного сценария педагогики, процесс продолжается, и способен на этот раз длиться бесконечно. Поскольку существует конец ценности и работы, но для симулякра ценности и работы его не существует. Универсум симулякра

трансреален и бесконечен: никакое испытание реальности больше не сможет положить этому конец – если только не тотальное обрушение и сползание почвы, которое остается нашей самой безумной надеждой.

Май, 1977.

О нигилизме

Нигилизм больше не окрашен в мрачные, вагнеровские, шпенглеровские, сумрачные тона конца века. Он больше не происходит от *Weltanschauung*⁹² декаданса, ни от метафизической радикальности, рожденной из смерти Бога и из всех последствий, которые необходимо из этого извлечь. Сегодня нигилизм – это нигилизм прозрачности, и этим он в каком-то роде более радикален, более критичен, чем его предшествующие и исторические формы, поскольку эта прозрачность, это колебание, неизбежно означает прозрачность системы, а также прозрачность любой системы, посягающей еще на ее анализ. Когда Бог умер, оставался еще Ницше, который это говорил – великий нигилист перед лицом Вечности и трупом Вечности. Но перед лицом симулированной прозрачности всех вещей, перед лицом симулякра материалистического или идеалистического исполнения в гиперреальности (Бог не умер, он стал гиперреальным), нет больше теоретического и критического Бога для того, чтобы признать своих.

Вселенная, и мы все, при жизни вошли в симуляцию, в пагубную сферу, даже не в пагубную, безразличную, сферу устрашения: нигилизм, необычным образом, полностью реализовался, но не в деструкции, а симуляции и устрашении. Активный, жестокий фантазм мифа и сцены, каким он был, исторически также, он перешел в прозрачное, ложно прозрачное функционирование вещей. Что остается, таким образом, от нигилизма, возможного в теории? Какова та новая сцена, в которой как *вызов*, как ставка, могли бы быть разыграны ничто и смерть?

Мы пребываем в новой позиции, и, несомненно, неразрешимой, по отношению к предшествующим формам нигилизма:

⁹² Примеч. переводчика. *Weltanschauung* – с нем. яз. мировоззрение.

Романтизм – его первое великое появление: он соответствует, вместе с Революцией братьев Люмьер, деструкции порядка видимостей.

Сюрреализм, Дадаизм, абсурд, политический нигилизм – его вторая значимая манифестация, соответствующая деструкции порядка смысла.

Первый – это эстетическая форма нигилизма (дендизм), второй – политическая, историческая и метафизическая (терроризм) форма.

Обе формы касаются нас лишь отчасти, или совсем не касаются. Нигилизм прозрачности больше ни эстетичен, ни политичен, он не обращается больше ни к уничтожению видимостей, ни к истреблению смысла, дабы заимствовать закат, или последние нюансы апокалипсиса. Апокалипсиса больше нет (только алеаторный терроризм пытается еще его отражать, но вот только он больше не политический, и обладает лишь одним способом появления, который одновременно является способом исчезновения: медиа – однако медиа это не сцена, на которой что-либо разыгрывается – это лента, полоса, перфокарта, и мы не являемся больше даже зрителями всего этого: реципиентами. Конец апокалипсиса, вместо него сегодня – прецессия нейтрального, форм нейтрального и безразличия. Возможен ли романтизм, эстетика нейтрального? Я так не думаю – все, что осталось, это ослепление пустынными и безразличными формами, операцией самой системы, нас аннулирующей. Однако, ослепление (в противоположность соблазну, который был связан с видимостью, и диалектическому разуму, который был связан со смыслом) это нигилистская страсть в высшей степени, это страсть, свойственная модусу исчезновения. Мы ослеплены всеми формами исчезновения, нашего исчезновения. Меланхоличные и ослепленные, такова наша основная ситуация в эру невольного исчезновения.

Я нигилист.

Я констатирую, я принимаю, я примиряюсь с огромным процессом деструкции видимостей (и соблазна видимостей) в пользу смысла (репрезентация, история, критика, и т.д.), составляющего главное событие XIX века. Настоящей революцией XIX века, современности, является радикальная деструкция видимостей, разочарование мира и его обреченность на жестокость интерпретации и истории.

Я констатирую, я принимаю, я примиряюсь, я анализирую вторую революцию, революцию XX века, пост-современности, являющуюся огромным процессом деструкции смысла, равной предшествующей деструкции видимостей. Тот, кто наносит удар посредством смысла, оказывается убит смыслом.

Диалектическая сцена, критическая сцена пусты. Сцены больше нет. Нет больше терапии смысла или терапии смыслом: сама терапия является частью всеобщего процесса недифференцированности.

Сама сцена анализа стала сомнительной, алеаторной: теории колеблются (в действительности, нигилизм невозможен, так как он представляет собой теорию безнадежную, но детерминированную, воображаемое конца, *Weltschauung* катастрофы⁹³).

Сам анализ, возможно, является решающим элементом огромного процесса замораживания смысла. Рост смысла, который они приносят, их соперничество на уровне смысла абсолютно вторично по отношению к их коалиции в замораживающей и четверной операции препарирования и прозрачности. Необходимо отдавать себе отчет в том, что тем способом, которым действует анализ, он приводит к замораживанию смысла, он способствует прецессии симулякров и безразличных форм. Пустыня разрастается.

⁹³ Существуют культуры, обладающие лишь *воображаемым* своего происхождения, но не обладающие никаким *воображаемым* своего конца. Есть и такие, которые неотступно преследуются и тем, и другим... Возможны два других случая... Обладать только *воображаемым* собственного конца (наша культура, нигилистская). Не обладать больше никаким *воображаемым*, ни происхождения, ни конца (та, которая наступает, алеаторная).

Имплозия смысла в медиа. Имплозия социального в массе. Бесконечный рост массы в зависимости от ускорения системы. Энергетический тупик. Точка инерции.

Судьба инерции пресыщенного мира. Феномены инерции ускоряются (если так можно сказать). Приостановленные формы очень быстро распространяются, а рост замирает в разражении. В этом также секрет гипертелии, того, что заходит за пределы своего собственного предназначения. Возможно, в этом кроется наш собственный способ деструкции финальностей: идти дальше, слишком далеко в одном и том же направлении – разрушение смысла посредством симуляции, гиперсимуляции, гипертелии. Отрицать свою собственную цель при помощи гиперфинальности (ракообразный, статуи острова Пасхи) – не кроется ли в этом также непристойная тайна рака? Реванш разражения над ростом, реванш скорости над инерцией.

Массы также захвачены этим гигантским процессом инерции посредством ускорения. Они есть этот разрастающийся, пожирающий процесс, который аннигилирует любое возрастание и любой рост смысла. Они есть этот поток, закороченный чудовищной финальностью.

Именно эта точка инерции сегодня ослепительна, захватывающая, и то, что происходит поблизости от этой точки инерции (больше нет, таким образом, скромного обаяния диалектики). Если возводить на первое место эту точку инерции и анализ этой необратимости систем до критической точки значит быть нигилистом, тогда я нигилист.

Если быть неотступно преследуемым этим модусом исчезновения, а вовсе не режимом производства, означает быть нигилистом, тогда я нигилист. Исчезновение, афаниз, имплозия, *Furie des Verschwindens*⁹⁴.

⁹⁴ Примеч. переводчика. Парафраза Гегеля, фурия исчезновения, небытия (нем.яз.).

Трансполитическое это избирательная сфера режима исчезновения (реального, смысла, сцены, истории, социального, индивида). По правде сказать, это больше не столько нигилизм: в исчезновении, в пустынной, алеаторной и безразличной форме, нет больше даже пафоса, патетики нигилизма – этой мифической энергии, которая еще составляет силу нигилизма, радикальности, мифического отрицания, драматической антиципации. Это даже больше не разочарованность, с присущей ей самой по себе разочарованной тональностью, соблазнительной и ностальгической тональностью разочарования. Это просто-напросто исчезновение.

Следы этой радикальности модуса исчезновения можно обнаружить уже у Адорно и Бенджамина, параллельно ностальгическому упражнению в диалектике. Поскольку существует ностальгия диалектики, и, несомненно, самая тонкая диалектика сразу становится ностальгической. Но если взглянуть глубже, у Бенджамина и Адорно присутствует иная тональность, тональность меланхолии, связанной с самой системой, неизлечимая и находящаяся за пределами любой диалектики. Именно эта меланхолия систем берет сегодня верх сквозь окружающие нас иронично прозрачные формы. Именно она становится нашей фундаментальной страстью.

Это больше не spleen или волна разочарования конца века. Это больше также не нигилизм, который стремится в каком-то роде все нормализовать посредством деструкции, страсть рессентимента. Нет, меланхолия это фундаментальная тональность функциональных систем, актуальных систем симуляции, программирования и информации. Меланхолия это качество, присущее модусу исчезновения смысла, режиму улетучивания смысла в операциональных системах. И мы все меланхоличны.

Меланхолия это то жестокое охлаждение, охлаждение пресыщенных систем. Потому что надежда привести в равновесие добро и зло, истинное и ложное, даже столкнуть некоторые ценности того же порядка, более

обобщенная надежда на отношение силы и ставки, куда-то исчезла. Повсюду, всегда, система слишком сильна: стремится к гегемонии.

Можно вооружиться хитростями желания против данной гегемонии, заниматься революционной микрологией повседневности, активизировать молекулярный дрейф или даже осуществлять апологию кухни. Все это не разрешит крайней необходимости привести к краху систему в полном расцвете.

Все это осуществляет только терроризм.

Он является той чертой реверсирования, которая стирает остаток, как мимолетная ироничная улыбка стирает целый разговор, как одна вспышка отрицания у раба стирает всю мощь и наслаждение хозяина.

Чем более гегемонистской является система, тем под более сильный удар от мельчайшего реверса попадает воображение. Вызов, даже ничтожный, является отражением поломки в цепи. И только эта несравнимая обратимость привлекает сегодня всеобщее внимание, на нигилистской и заброшенной сцене политического. Только она мобилизует воображаемое.

Если быть нигилистом значит нести, за невыносимую грань гегемонистских систем, эту радикальную черту насмешки и жестокости, этот вызов, на который система обязана ответить собственной смертью, тогда я террорист и нигилист в теории, как другие ими являются при помощи оружия. Теоретическая жестокость, но не истина, является единственным оружием, которое нам остается.

Но все это, утопия. Поскольку было бы прекрасно быть нигилистом, если бы еще имела место радикальность – как если было бы прекрасно быть террористом, если смерть, включая смерть террориста, обладала бы еще смыслом.

Но именно здесь вещи становятся неразрешимыми. Так как на этот активный нигилизм радикальности система отвечает собственным нигилизмом нейтрализации. Сама система также является нигилистской, в

том смысле, что она обладает способностью сохранять все, включая то, что ее отрицает, в состоянии безразличия.

В данной системе, сама смерть сверкает своим отсутствием. Болонский вокзал, Munich(ский) Oktoberfest⁹⁵: умершие нейтрализуются безразличием, вот где терроризм становится невольным сообщником всей системы: не политически, а в ускоренной форме безразличия, навязыванию которой он способствует. Смерть не имеет больше ни фантазматичной, ни политической сцены, на которой она могла бы изображаться, разыгрываться, церемониальная или жестокая. И это, победа другого нигилизма, другого терроризма, победа системы.

Не существует больше сцены, даже минимальной иллюзии, создающей впечатление, будто события могли бы возыметь силу реальности – больше никакой сцены, ни ментальной или политической солидарности: что нам до Чили, Бьяфры, эмигрантов на кораблях, Болоньи или Польши? Все это уходит в небытие на экране телевизора. Мы живем в эру событий без последствий (и теорий без последствий).

Нет больше никакой надежды для смысла. И без сомнения это хорошо: смысл смертелен. Но то, благодаря чему он навязал свое эфемерное царство, то, что он думал уничтожить, дабы навязать царство Люмьер, сама видимость, бессмертна, неуязвима перед нигилизмом, даже перед нигилизмом смысла или бессмыслицы.

Вот где начинается соблазн.

⁹⁵ Примеч. переводчика. Oktoberfest in Munich (нем.яз) - Октябрьские народные гуляния в Мюнхене, пивной фестиваль.

Содержание

Вступительная статья.....	3
Прецессия симулякров.....	16
История: сценарий ретро	68
Холокост.....	75
<i>China Syndrom</i>	78
<i>Apocalypse Now</i>	84
Эффект Бобура. Имплзия и устрашение.....	87
Гиперрынок и гипертовар	104
Имплзия смысла в медиа	109
Абсолютная реклама, нулевая реклама	118
<i>Clone Story</i>	128
Голограммы	138
<i>Crash</i>	144
Симулякры и научная фантастика.....	155
Животные. Территория и метаморфозы	163
Остаток	178
Труп по спирали	185
Последнее танго ценности	192
О нигилизме	196

Формат бумаги 84x108/16. Бумага офсет.
Гарнитура Times New Roman.
Печать риз. Усл.-печ, л. 11,86. Уч.-изд, л. 11,7.
Тираж 50 экз. Заказ № 153.

Отпечатано с оригинал-макета в ООО «Тульский полиграфист»
300600, Тула, Каминского, 33, тел. 31-16-69
